

ЖИЗНЬ БЕЛОЙ СУКИ*

Посвящается Тайге

1.

Лёжа на талом снегу в ожидании близкой смерти, Бьянка вдруг вспомнила запах матери, сотканный из слабых, еле памятных ароматов: её тёплого жирного молока, сухого сена с лоскутами увядших васильков, тлеющей дымно листвы, что жгли на дачах в ту самую первую осень её начинающейся жизни.

Запах тлеющих листьев был одним из первых, а потому особенным — острым, густым, вобравшим в себя всё, что смогло вместить короткое земное бытие всякого листа, от клейкой, стрельнувшей навстречу теплу почки до обречённого полёта к холодеющему телу земли. Поздний сентябрь увядал, и деревья сыпали листвой повсюду. Клён устилал зелёную пока ещё траву пышным апельсиновым одеялом. Тополя лениво, но как-то дружно стряхивали свои последние пепельные ошмётки. И некрасиво, широко сорила мелкими листочками старая, стволом в три охвата ива. Но ещё красовались на солнечных припёках одетые в тусклый пурпур рябины с тяжёлыми пучками подмерзающих алых ягод, а трепетные осинки обливала светлая яичная желтизна.

* Журнальный вариант.

Пройдут недолгою чередой прозрачные дни, и лазурь неба надолго затянется клубящаяся хмарь, зачастят дожди, вымочат до самой сердцевины деревья, и последние листья на них оборвёт порывистый северный ветер, унесёт в грязь, в лужи, в тлен. Наступит зима. Бесконечная. Студёная.

Но Бьянка ещё не знала зимы. И лета она не видела. Появившись на свет в начале сентября, она ощутила осень как вечное состояние окружившего её мира.

Солнце дотрагивалось до её не прозревших ещё глаз тёплыми лучами, и тонкая плёнка век наполнялась розовым светом. Она чувствовала доброту этого света: великую, нескончаемую любовь обещала ей, малой Божьей твари, её начинающаяся жизнь.

Матери она тоже пока не знала. Вслепую, по сильному запаху, находила её грубые сосцы, припадала и жадно, захлёбываясь, цедила молоко, не понимая его источника. Она постоянно чувствовала голод и торопилась утолить его.

В первые дни она много спала рядом с матерью. Грелась её теплом. Когда мать уходила, звала её слабым, едва слышным писком. Вслед за ней принимались тоненько жаловаться сёстры и братья. И мать возвращалась. Осторожно, боясь придавить щенков, ложилась рядом.

В этом помёте у старой лайки Берты их было четверо: два чёрно-белых кобелька и такого же окраса сучонка. Последней она выдавила из себя совершенно белую девочку. Чистую, словно снег. Это и была Бьянка. Вылизывая её, сглатывая солёные плёнки плаценты, Берта дивилась: никогда ещё не было у неё таких щенков. Возможно, поэтому беленькую она вылизывала от крови и сгустков слизи особенно долго, не оставляя на снежной шерстке ни пятнышка. Повторяла это, пренебрегая другими щенками, часто, по несколько раз в день.

Первое, что увидела Бьянка, когда прозрела, был воробей. Попрыгивая возле алюминиевой миски, он склёвывал остатки собачьей пищи, изредка косясь на Бьянку бусинкой чёрного глаза. Неуклюже переваливаясь, она заковыляла к нему, готовая грозно зарычать на незваного гостя, а на самом деле лишь пару раз звонко тявкнула. Трепыхнув крыльями, воробей улетел прочь. А Бьянка приблизилась к прутьям своей клетки. Только теперь открылся ей краешек мира, в котором ей предстояло прожить всего-то шесть лет её собачьей жизни.

Этот мир начинался с ржавой бочки из-под авиационного керосина, что стояла рядом с клеткой неведомо для какого предназначения. Тут же, обок, корявилась старая ветла, чьи ветви, похожие на узловатые человеческие пальцы, упрямо тянулись к солнцу, просили свою кроху тепла и света. Давным-давно кто-то из служащих привязал к её стволу для каких-то хозяйственных нужд обрывок стального, в мизинец толщиной прута, да и забыл его по необходимости. С тех пор, не в силах разорвать эту узду, ветла мягким своим телом каждый год всё глубже, настойчивее укрывала её в себе, покуда та не увязла в ней, не утонула в её влажной мякоти, победно утверждая жажду жизни и тицетность любой узды, любого насилия и плена. Слева от ветлы тянулся ряд одинаковых деревянных клеток-сараюшек под кровельным железом, с прутьями впереди, покрашенных свежей, ещё не выцветшей на солнце и под дождями зелёной краской. В ближнем к ней соседстве, поняла Бьянка, тоже жили собаки. Они подвывали. Иные лаяли громко. Скребли когтями деревянный настил клеток. Тяжко вздыхали. Гремели казёнными мисками. Переругивались между собой и порой даже устраивали короткие драки, в которых не было ни победителей, ни побеждённых, а только слегка прихваченная зубами холка противника да клочок вырванной у него шерсти.

Охранял собаки вольеры латанный старой жестью да бракованным штакетником забор, из-за отсутствия денег и воровства местами вовсе дырявый, пацанками да бомжами ломанный на костры. Тем не менее, верх по всей длине забора венчала ошетилившаяся “колочка”, которую в смутные перестроечные времена директор питомника выменял у командира соседней воинской части за несколько породистых щенков, нужных командиру для прибывшего с проверкой вьедливого инспектора из Минобороны — тот был страстный охотник и взяточник.

За клетками свежей масляной краской алаел пожарный щит, к которому лет десять тому назад накрепко прикрутили ржавый багор, да топор затупившийся, списанный, да худой, весь в проплешинах и дырах, гидрант, подключать который всё равно было некуда. Однако пожарные, всякую инспекцию получая в подарок не лучших, но всё же породистых щенков, закрывали на эти “мелкие нарушения” глаза. Просили только подновить свежей краской щит да хотя бы раз в квартал проводить инструктаж персонала на случай возможной эвакуации.

Вполне естественно, что щенки для собачьего питомника были самой ходовой, расхожей валютой. Разводили тут исключительно лаек, а для любого охотника, особенно же для того, кто идёт в лес с серьёзными намерениями, касающимися лося, кабана или медведя, лайка — самый верный товарищ и друг. Особенно если собака хорошей крови да правильной подготовки. А таких в питомнике всегда хватало.

Сама Бьянка, если бы каким-то чудом могла понимать хитросплетения собачьих родословных, с удивлением узнала бы, что её дальними предками были Тайга и Мишка из товарищества охотников Иваново-Вознесенска, те самые Мишка и Тайга, чья безграничная и верная любовь подарила стране выдающихся представителей западносибирских лаек и таким образом, как потом запишут в учебниках и научных статьях, “оказали значительное влияние на формирование всей их породы”. Сам Мишка, если вчитываться глубже, в собачьи архивные документы, происходил, в свою очередь, от союза Себерта и Нельвиры, принадлежавших доктору Пузевичу из города Обдорска, и появился на свет аж в далёком 1924 году. Так и осталось загадкой, откуда лайки взялись на этой северной ненецкой земле, где, как известно, повсюду царит лесотундра, а лайки — с длинной шерстью, “оленегонные”, стало быть, под стандарты лесной охотничьей породы вовсе не подходящие. Тем не менее, и у легендарного Мишки, и у его дальнего потомка Бьянки прослеживались всё те же признаки их древних предков — вогульских и остяцких собак, что с давних, незапамятных пор помогали человеку вести охоту в диких чащобах Северного Урала и Западной Сибири: этот косой разрез век, эта красивая “муфта” на шее, этот туго завитый кольцом хвост, карие глаза, острая морда, — словом, всё, что отличало беззаветных тружеников леса от остального собачьего племени.

Но снежный щенок Бьянка об этом, конечно, не знал, не ведал.

Над клетками кружили и опускались на землю яркие листья старого клёна. А над клёном уходило вверх бездонное небо, и солнечные зайчики слепили Бьянке глаза.

Скрипнула железная калитка, мимо прошла девушка в чёрной телогрейке с эмалированным ведром в руке. Хлопали друг о друга широкие голенища её резиновых сапог, трепался на ветру подол байкового платьишка, и её встречал нетерпеливый собачий гомон. Только Бьянка молчала, не понимая причин всеобщей радости. Через недолгое время девушка уже возвращалась обратно. И ведро её было заметно легче, и настроение, наверное, получше, потому что остановилась она возле клетки, где лежала Бьянка, и та вдруг пошла ей навстречу. Девушка присела, протянула сквозь брутья ладони с бумрыми полосками под ногтями. Ладони пахли мясом, свернувшейся кровью, однако Бьянке отчего-то не было страшно. Она не отскочила, когда ладонь дотронулась до её головы.

— Вот ты какая чистенькая и опрятная, — сказала девушка, почёсывая Бьянку за ухом, — Ну, значит, долго ты у нас не удержишься.

Что значили эти важные для неё слова, лайка-младенец, конечно, не понимала. Но голос девушки в чёрной телогрейке был ласковым, и угрозы от её руки не исходило. Когда она поднялась уходить, Бьянка долго смотрела ей вслед, пытаясь запомнить её запах, походку, силуэт.

Девушка в чёрной телогрейке по несколько раз проходила мимо клетки, где обитала старая Берта и четверо её новорожденных щенков. Из своего эмалированного ведра, над которым парил восхитительный дух собачьего варёва, наливала Берте полную миску, всегда почти с верхом, потому как собака была кормящая, и ей, конечно, еды требовалось сверх обычной нормы.

И всякий раз, наполнив миску, девушка не упускала случая потреть холку юной Бьянке. А та уже и ждала её. Издали узнавала шаги в хлопающих резиновых сапогах, чувствовала запах чудесного варева ещё до того, как лягнет знакомо железная калитка. Подойдёт девушка к клетке, щёлкнет тугим засовом, а Бьянка уже тут как тут, приковывляла навстречу. Тычется мокрой кнопкой носа в тёплую, пахнущую едой ладонь.

— Здравствуй, девочка, здравствуй, хорошая, как ты спала сегодня? Что тебе снилось? — приговаривает девушка в чёрной телогрейке, поглаживая Бьянку между ушами, по горлышку и по спине.

Старой Берте не нравились эти отношения. Она прожила в питомнике много лет, верила не одно поколение западносибирских лаек, и каждое, в конце концов, исчезало в таких вот тёплых руках. Знала она, что так же будет и на этот раз: лишь только дети её подрастут и она перестанет кормить их своим молоком, питомник выставит их на продажу. И дети покинут её. Совсем скоро.

Получив порцию собачьего варева, Берта первой подходила к миске. Втягивала ноздрями полный жирных ароматов воздух, осторожно касалась еды языком. Нередко варёво раздавали слишком горячим, и тогда Берта ходила возле миски кругами, ожидая, пока еда остынет. И если в эту минуту кто-нибудь из щенков пытался опередить мать, прежде неё приблизиться к пище, собака приподнимала чёрные брыли, обнажая жёлтые, стёсанные клыки и негромко, негрозно рычала. Приучала малышей к издавна заведённому в собачьем племени закону: первым ест вожак стаи, а все остальные — потом. Даже если это твои собственные дети.

А щенки, подрастая, играли, привыкали к новым знакам, что подавала им мать. К новым запахам и звукам, что посылал им окружающий мир. С каждым днём они всё меньше пребывали в дрёме и всё больше — в движении.

Успокаивались только под вечер, когда питомник накрывали студёные сумерки. Сквозь рваное лоскутьё туч, что несло по необъятному небу порывистым ветром, проглядывал леденец полумесяца да мелкая россыпь звёзд — неярких, почти незаметных.

Щенки жались под тёплый бок матери, и она, вылизав сухим языком каждого поочерёдно, долго ещё не спала, прислушивалась к их ровному дыханию, к разнобою крохотных, беспоконных сердец, к их тихому, непорочному посапыванию. В такие минуты, а их в жизни старой суки было немало, всё её тело наполнялось безмерным покоем и умиротворением, великим материнским счастьем. Может быть, на этот раз оно будет не таким коротким?

Пегого кобелька у матери забрали первым. Ночи в конце октября были с первым, не крепким ещё морозцем, так что хруст ледышек под человеческими ногами старая Берта слышала ещё задолго до того, как к клетке подошла девушка в чёрной телогрейке, а с ней низенький, кряжистый мужичок в потёртой солдатской ушанке. Мужичок жадно палил вонючую сигарету и так же жадно рыскал глазами по щенкам. Придирчиво разглядывал каждого, пуская горбатым носом едкие клубы табачного дыма. И кашлял, сплёвывая горькую слюзу прямо себе под ноги. Зная даже самые мелкие приметы расставания с детьми, старая Берта встретила мужичка недобро. Хищно, по-волчьи оскалилась и подвинулась в дальний угол клетки, прикрывая щенков собственным телом. А те, полагая, что мать затевает с ними новую игру, тявкали задорно и лезли обратно через её широкую спину. И, смешно переваливаясь, с любопытством торопились навстречу людям.

И те их уже ждали. Девушка в чёрной телогрейке, быстрым движением крутнув щеколду, подхватила через приоткрывшуюся дверцу выбранного щенка. Старая лайка и вскопичить не успела, как захлопнулась решётка, и её щенок уже был не с ней, а по ту сторону — у девушки. А потом в руках чужого мужика. Пегий не плакал, не скулил, и сердце матери успокоилось — лишь на мгновение. Тут же она поняла, что видит своего сына в последний раз. И тогда, прижавшись седеющей мордой к прутьям решётки, мать завывала, как выла она всякий раз, теряя своих детей.

Но в эту долгую осень Берта ощущала безмерную усталость, безразличие к миру. Что бы она ни делала, как бы ни сопротивлялась его жестоким законам, люди всё равно отбирали у неё щенков. И будут отбирать, пока она сможет производить их на свет. А когда не сможет, они пришлют человека в белом, который сделает ей смертельный укол. Затем окоченевшее её тело завернут в пластиковый пакет и отнесут на помойку. Так заканчивалась жизнь многих знакомых собак.

Человека в белом по многу раз в жизни видел каждый обитатель питомника. Был он роста маленького, так что мятый халат, который он, кажется, не снимал никогда, доходил ему почти до самых ботинок, отчего полы его всегда имели неряшливый, грязный вид. Волосы человека были засалены, редко и неаккуратно стрижены, возможно даже, что и стриг он их вовсе не в парикмахерской, а сам, тупыми ножницами, склоняясь над раковиной. И мыл, казалось, не чаще раза в месяц. Человек в белом курил дешёвые сигареты без фильтра, неприятно отплёвывая табачную крошку. Зелёный, словно недозревший крыжовник, глаз его шурился от ядовитого дыма, истекал слезой, которую хозяин решительно отирал рукавом своего халата. По понедельникам от него несло перегаром.

Самому себе казался он личностью неустроенной, брошенной, жизнь свою перечеркнувшей лет уж пятнадцать назад, сразу после развода с женой — красавицей-цыганкой из города Кишинёва. Однако, если не обращать внимания на многие его недостатки, сослуживцы знали его и ценили как опытного врача, умевшего с лёгкостью и неким даже артистизмом врачевать любые собачьи немощи, от поцарапанной лапы до какой-нибудь хитро замаскировавшейся опухоли. Имя у него, конечно же, было самое что ни на есть человеческое — Иван Сергеевич. А вот фамилия — не здешняя, похожая чем-то даже на собачью кличку — Форстер. Так и в паспорте было записано.

Встреча с человеком в белом ничего хорошего обитателям питомника обычно не сулила. Вслед за такой встречей неизменно следовала духота его прокуренной смотровой, холодный блеск хирургической стали, наводящей первобытный ужас даже на матёрых псов, острый запах лекарств в прозрачных флаконах, ослепляющий свет операционной лампы, не оставляющей от тебя даже тени. А ещё — неизменная боль. Но все без исключения собаки сносили её терпеливо, мужественно. Лишь коротко взвизгнет какая-нибудь помоложе или поскулит немного. Но сразу же внутренне приструнится, а иная даже лизнёт Ивана Сергеевича в лицо. Потому что все откуда-то знали: вслед за болью будет облегчение. И немощь собачья отступит.

Сюда же на встречу с Форстером приводили и тех, кто был слишком болен, чтобы его спасать, или слишком уж стар. И это всякий раз была последняя встреча. Собаки чувствовали это, а потому брели по двору медленно, поджав хвост и тяжело дыша. Одним лишь краешком глаза грустно взглядывали на резвящихся в вольерах щенков, на молодых сук, блаженно развалившихся на тёплых досках своих клеток. Что уходящие собаки чувствовали, неизвестно. Извечная эта тайна открывается в свой черёд и другим обитателям питомника, когда и к ним придут старость и неизлечимые болезни.

Через считанные минуты обречённые страдальцы навсегда скрывались за железной калиткой питомника. Воспоминания о них исчезали уже через несколько дней, а месяц спустя никто даже вспомнить не мог их коротких и радостных прежде кличек.

По слухам, которые доходили до собачьего стада и передавались из клетки в клетку, из вольера в вольер, собачья смерть была вовсе не страшной. Такой же простой и будничной, как, скажем, скрежет решётки или песня пичужки на верхушке старой ветлы. В ней не было тайнства, какое ощущали собаки во время рождения щенков, хотя это случалось в их жизни, по понятным причинам, гораздо чаще. И трагедии в смерти обитателей питомника не было никакой ещё и потому, что их, казнённых, больных и старых, некому было оплакивать и в последний путь провожать.

Собирались в этот короткий путь — всего-то может быть метров двести — тоже просто. Надевали несчастному на шею старый кожаный ошейник,

цепляли карабином поводка за хромированное кольцо и неспешно вели до калитки. Оттуда по асфальтовой дорожке, вдоль которой весной и летом пышно разрастались зелёные веера лилейника, до административного здания с обшарпанной, много раз перекрашенной дверью на скрипучей, ржавой пружине. Там — до конца длинного коридора, устланного коричневым линолеумом, тоже старым, дырявым во многих местах.

Смерть поджидала за последней дверью направо. Но собаки её не чувствовали: за годы, проведённые в питомнике, они бывали за этой дверью не раз. Помнили эти резкие запахи и эти руки, которые никогда ещё не делали им худого. Вот и сейчас они входили сюда хоть и с тяжёлым сердцем от собственной немощи, но вместе с тем и с какой-то надеждой. Ведь ничто не говорило им, что они идут умирать. Иван Сергеевич трепал собаку за ухом, долго смотрел ей в глаза, словно просил у неё прощения. Тяжело вздыхал. Потом брал из блестящего кювета маленький пластмассовый шприц.

Ветеринарная инструкция предписывала убивать животное с помощью миорелаксантов, и врачебная практика предлагала для этих целей препарат дитилин — самый дешёвый, созданный на основе яда кураре. От дитилина у животного наступал паралич дыхательной системы. Оно задыхалось у вас на глазах минут десять-пятнадцать, в зависимости от дозы. Форстер знал, конечно, о действии этого яда. Мог бы, согласно инструкции, вводить его несчастным совершенно безбоязненно. Тем более, что дитилин ему был положен по смете. Хозяев у этих собак не было. Никто не спросит. Никто не осудит.

И, тем не менее, Иван Сергеевич инструкцию нарушал. На собственные деньги, никогда на этот счёт не распространяясь, доставал через знакомых пентобарбитал и вводил его собаке первым уколом. Через несколько минут она уже ничего не чувствовала, не понимала. Просто засыпала глубоко и тихо. Тогда только Форстер брал из кювета второй шприц, нащупывал на лапе вену, вновь тяжело вздыхал и выпрыскивал в собачью кровь несколько кубиков дитилина. Скоро всё было кончено. Дыхание останавливалось. Сердце не билось. Наступала смерть. Во сне. Лёгкая, безболезненная!

Сахарно-белого щенка Иван Сергеевич заметил ещё в день его рождения. Позже, проходя мимо вольера, слышал, как Бьянка задорно твюкает ему вслед, или наблюдал, как она, неукложе переваливаясь, торопится навстречу или же сонно сосёт материнское молоко. Саму Берту Иван Сергеевич тоже помнил неукложим и толстым щенком, позже лечил её многочисленные маститы. А лет восемь назад даже оперировал на предмет прободения желудка.

— Что, нравится щенок? — спрашивала ветеринара девушка в чёрной телогрейке.

— Нравится, — кивал в ответ задумчиво Форстер, — ты её, Антонина, пока никому не обещай. Может, я и сам её заберу. В деревню.

— Ну, это вы, Иван Сергеевич, с директором договаривайтесь. — улыбалась девушка, — щенок и в самом деле знатный. Хорошая лайка получится. Можно даже сказать — выдающаяся!

Будущее Бьянки даже человеку, не искушённому в кинологических тонкостях, виделось совершенно блестящим. При правильном воспитании, усердном уходе, душевной взаимосвязи Бьянка могла стать не только профессиональной охотничьей лайкой, но и призёром всевозможных собачьих выставок и соревнований, впоследствии даже и международного значения. Но самое главное, белоснежная сука при грамотном подходе заводчиков и безупречном генетическом коде такого же породистого кобеля могла дать миру, а уж лаячье сообществу и подавно, прекрасное продолжение рода: умных, сноровистых, красивых щенков, в которых, словно в волшебном тигле природной алхимии, соединится всё самое лучшее, ценное, значимое, чем обладает их юная пока ещё мать. А соединившись, устремится в будущее, передавая её частицы на десятки поколений вперёд. Памятники бы ставить таким собакам, как поставили его японцы верной акито-ину по имени Хатико — как национальный символ собачьей верности и любви.

Но прошёл целый месяц, прежде чем доктор Форстер стал полноправным хозяином белой суки.

Из неуклюжей недотёпы Бьянка превратилась в юную лайку, в которой угадывался весь её будущий экстерьер: и тугая закорючка хвоста, и маленькие крепкие уши, и ровный ряд острых молочных зубов. И даже норы — отчаянный, смелый.

Видимо, именно эти качества и задержали у вольера, где проживала Бьянка, двух старых охотников из Кировской области. Приехали они сюда специально за тысячу верст подбирать породистых щенков для государственного заказника, где любил пострелять не только местный губернатор и его многочисленная челядь, но даже и высокие гости из президентской администрации. Охотники эти были, что называется, стреляные воробьи, толк в собаках знали, а потому за хорошего, перспективного щенка могли выложить немалые деньги, предусмотренные на это щедрым губернаторским бюджетом.

— Хороша, — крикнул один из них — тот, что был пониже ростом в новой, первый раз надёванной шерстяной кепке-шестиклинке. Его блёклые, словно много раз стиранные глаза смотрели на Бьянку с нескрываемым восхищением, с какой-то даже воспламенившейся страстью, как только он представил себе этого щенка взрослой, рабочей собакой.

— И верно, — вторил ему другой, костлявый мужик с золотыми зубами, — надо брать, Архипыч! Что скажешь?

— Какие разговоры, — крихтел в ответ первый, — конечно, берём!

— Постойте, постойте, — вмешалась в разговор девушка в чёрной телогрейке, вспомнив свой прошлый разговор с Форстером, — кажется, этого щенка уже забирает наш ветеринар. В любом случае, я должна спросить разрешения руководства.

Мужики в момент исполнились решимостью, затуманились взором и поплёрли нахраписто прямо на девушку, прижимая её, крохотулю, к стальным прутьям собачьего вольера:

— Ты, девка, того, давай разрешай это дело по-скорому! Нам тутова ждать не сподручно. Выбрали псину, так подавай сюда! Деньги плотим не малые!

— Сейчас, граждане, подождите немного, — пробормотала скороговоркой девушка в чёрной телогрейке и кинулась в сторону скрипучей калитки. — Я скоренько!

Первым делом она добежала до кабинета Ивана Сергеевича. Тот, скособоившись на кушетке, в задумчивости читал вчерашнюю вечернюю газету и дымил своей сигареткой без фильтра.

— Щенка забирают! Белого! — бросила она ему через распахнутую дверь и тут же помчалась обратно, к лестнице, а по ней — на второй этаж, к кабинету директора Владлена Маратовича Медведева. Вслед за ней, путаясь в полах грязного халата, уже мчался ветеринарный врач Форстер.

Владлен Маратович Медведев происходил из семьи потомственных и убеждённых большевиков, проливавших кровь ещё в первую русскую революцию на баррикадах Пресни, а затем в восставшем Петрограде, на фронтах гражданской, а далее, как часто тогда случалось, защищавших завоевания новой власти и на других фронтах: в Туркестанском военном округе, на Дальнем Востоке, в Прибалтике и на Западном Буге. Одним словом, везде, где социалистическая Родина видела в том нужду и потребность. Само собой разумеется, воевали все Медведевы и на фронтах Великой Отечественной, а Марат Медведев даже дослужился до генеральского звания. В отличие от иных советских семей, этой совсем не коснулась волна репрессий и хрущёвских чудачеств. Жили они всегда скромно. Почестей и привилегий ни от кого не ждали. Любили свою страну. Гордились своей Родиной. Трудились на её благо. И другого ничего не желали. Накативший вал перестройки в считанные месяцы опрокинул эту лодочку благополучного советского счастья. Внёс в дружную прежде семью Медведевых смуту, споры, раздор, обрёл, как и многих вокруг, на позорную нищету, а может, и на тихую, никем не замеченную гибель. И не только седых убеждённых бойцов, но и молодёжь, наивно полагававшую, что так называемое “новое мышление” принесёт людям свободу и процветание. Ни хрена оно, как выяснилось, не принесло. Скорее, разрушило и поработило.

Вот и младший сын генерала Владлен клонул на сладкую наживку свободного предпринимательства, бросил институт, где почти дослужился до звания доцента, и принялся торговать женским бельём, которое возили из Турции его бывшие коллеги, превратившиеся теперь в новое сословие с каким-то быдлячьим названием “челноки”. Денег особых Владлен, конечно, не заработал, а палатку его на центральном рынке не раз пытались спалить хитроумные конкуренты, говорящие на чужом языке и исповедующие другого Бога. Должно быть, от отчаяния бывший доцент вот с такими же, как он, бывшими младшими научными и не слишком научными сотрудниками скучковался в бедовую стаю. Разработав прямо-таки боевую операцию, в тихом месте изловили эти борцы за справедливость нерусского главаря. Иступлённо били гранитным бульжником прямо по чисто выбритому черепу. Пока не превратили его голову в кровавое месиво с ошмётками мозгов и костей. И разбежались с клятвой: теперь мы друг друга не знаем! Чтобы спасти сына от мести инородцев, генерал упрятал его к старому боевому товарищу — на секретную ракетную площадку в читинской тайге, куда не то что диверсант, даже министерская инспекция добиралась с трудом раз в полгода. Чем уж он в этом медвежьем углу занимался, какие думы посещали его академически-криминальную башку, доселе остаётся тайной. Но ровно через два года младший Медведев появился перед дверью родительского дома — изголодавшийся, приструненный, на всё готовый. Тогда-то и определили его, вновь по крепкой отцовской протекции, на незаметную должность заместителя директора собачьего питомника на тихой окраине Москвы, куда новый зам добирался сперва на метро, а затем на троллейбусе почти полтора часа. Каждый Божий день. И почитал это за великое счастье. Через год прежний директор помер, и Владлена Маратовича, само собой, назначили на его место. К тому времени он уже неплохо разобрался в экстерьере, воспроизводстве и учёте вверенного ему поголовья западносибирских лаек. С его институтским прошлым освоить это дело было совсем не сложно.

Когда в кабинет Владлена Маратовича без почтительного стука ворвалась девушка Антонина, а вслед за ней и запыхавшийся до хриплой одышки курильщика ветеринарный врач, директор питомника сосредоточенно вглядывался в монитор компьютера, который предлагал ему познакомиться с девушками для необременительного знакомства. Два года сурового армейского бытия посреди сибирской тайги, статус беспросветного холостяка да прошлое университетское образование позволяли Владлену Маратовичу под немудреной кличкой “Че Катило” бродить по сайтам знакомств в поисках жадных провинциалок. Искал он их даже не столько для того, чтобы переспать (хотя в его служебном кабинете и такое случалось), но прежде всего затем, чтобы таким вот чудным виртуальным образом в который раз обмануться насчёт своей привлекательности, молодости и обаяния. Этому наивному сорокапятилетнему человеку нравилось, что совсем молодые женщины с готовностью отвечали на его призывные знаки. В такие минуты он чувствовал себя пацаном. Здоровым, гибким и сильным. Хотя каким-то незамутнённым краешком своей души сознавал, что занимается чем-то дурным, по большому счёту, греховным. Почти как в детстве, когда подростком прятался в ванной с порнографической открыткой, которую стащил из портмоне отца. И сладко было. И страшно, оттого что нечто светлое и невинное уходило из его сердца навсегда. Чувство неудобства не покидало его и сейчас, когда он среди дня в своём рабочем кабинете щёлкал “мышкой” по сайтам знакомств. Так что, когда в кабинет без стука вбежала девушка Антонина, директор принялся поспешно закрывать окна с откровенными фотографиями. Его широкий, покрытый первыми морщинами лоб увлажнился испариной. Перед ветеринаром было бы не так стыдно. Он сам мужик холостой. Поймёт.

— Я же просил не вламываться без разрешения, — рывкнул директор, кося глаз на Антонину и продолжая шустрить “мышью”.

— Вы уж извините, Владлен Маратович, но дело такое... — запыхавшись, говорила девушка, не смея следовать дальше к начальственному столу. — У Берты белого щенка хотят купить.

— Ну, и продавай, раз хотят. Поди не первый день трудишься. Знаешь, как документы оформить, — бурчал директор, хотя уже и не так сердито. Стыдные страницы он уже захлопнул, и теперь на рабочем столе монитора покойно плескалась океанская волна, а посреди — необитаемый остров с кокосовой пальмой.

— Знаю, конечно, — сказала Антонина, — да вот Иван Сергеевич просил этого щенка ему оставить.

— Иван Сергеевич? — удивлённо поднял брови директор. — Вот как?!

И обернулся к двери, куда поспешно входил, путаясь в халате, ветеринарный врач Форстер. Вид у него был, как всегда, потрёпанный, неухоженный, какой приобретает большинство одиноких мужиков, то ли осиротевших, то ли овдовевших или просто брошенных. Честно говоря, директор и сам был таким, но о нём пока ещё хлопотали престарелые родители, незамужние сёстры в возрасте и иные многочисленные родственники. Варили ему обеды, стирали бельишко, латали одежду, вытирали в его комнате пыль и раз в неделю меняли постельное бельё. Следили, чтобы Владик каждое утро чисто брил морду, вовремя стриг волосы у парикмахера да боролся с животом: из-за многолетнего пристрастия к пиву и иным веселящим напиткам и сонного образа жизни тот рос у него, словно на дрожжах. Гольц Владлен Маратович теперь, если вдруг глядел на себя в зеркало, чаще видел в нём не мужика зрелого возраста, а волосатую беременную бабу. Гадкую, отталкивающую.

Ветеринарный врач Форстер, если его тоже раздеть да поставить перед зеркалом, должно быть, выглядел не лучше. А потому, лишь только взглянул директор на несчастного Ивана Сергеевича, увидел его нечёсаную, расчёпанную шевелюру, как тут же и осёкся. Заслышал внутри себя нездешние, ангельские голоса.

— Да зачем же она тебе, Иван Сергеевич? — спросил директор ласково. — Давай найдём тебе любую другую собаку, раз за эту деньги дают.

— Другой мне не нужно, — сокрушённо произнёс Форстер. — Я на эту глаз положил. Давно уже. Тоня, вон, знает.

— Уже недели две тому назад, — подтвердила Антонина.

— Я и денег готов заплатить, — добавил врач, — если уж на то дело пошло.

— Ну, вот! — вздохнул директор. — Ещё я с тебя только денег не брал за щенков! Думай, что говоришь.

Отвернулся к монитору, на котором всё ещё плескалась о пустынные берега острова голубая волна, и произнёс, не отрывая глаз от чудесной, райской картинки:

— Значит так, Антонина, скажешь, что щенок из директорского фонда. Не продаётся. А ты, Иван Сергеевич, пожалуйста, забирай его прямо сегодня. Чтоб глаза мои больше не видели это чудовище!

2

Почти два месяца жила Бьянка в доме у Ивана Сергеевича. И уже начала забывать запах матери, вкус казённого варева и руки девушки Антонины. Сам питомник с его ветлой, колючей проволокой, листом железа, гудящим на ветру, вспоминала нечасто. Жизнь её теперь была совсем другая — комфортная. Но одинокая.

Квартира, в которой обитал ветеринарный врач Форстер, располагалась не в городе, а за его чертой, в так называемом посёлке городского типа. Здесь, как и в настоящем городе, имелись все его признаки: поликлиника, милиция, баня, кладбище и городская администрация, но дома были невысоки, нравы — проще, а люди друг дружке — ближе. Квартира Ивана Сергеевича как раз находилась на втором этаже сооружения постройки сорок восьмого года, возведённого в те давние года немецкими военнопленными, а оттого добротного. Правда, без должного ухода и заботы даже немецкие постройки превращалось со временем в родные до боли руины. От многих снегопадов и дождей краска фасадов облупилась, поновляли их без соблюдения порядка и технологий уже не меньше десяти раз, так что дома выглядели

какими-то тошнотворными, муторными. Балкончики с цементными балаясами местами рассыпались, иные места проросли травой и даже деревьями, а один так и вовсе рухнул на землю, оставив после себя гнутую ржавую арматуру, кусок швеллера да светлое пятно правильной формы на прежнем его месте. Двери подъездов скособочились, многие не закрывались, отчего внутри за ними было зябко, пахло мочой спешащего мимо люда, плесенью, помойкой и влажным духом парового отопления.

Двухкомнатная квартирка Ивана Сергеевича, впрочем, гляделась совсем не так грустно, а местами казалась даже уютной. Свой вклад внесли в неё покойная матушка ветеринара, а затем жена-цыганка из города Кишинёва. Именно две эти ушедшие в небытие женщины неистово белили потолки, красили блестящей эмалью оконные рамы, циклевали дубовый паркет и крыли его вонючим лаком. Развесили затем на стенах гуцульскую керамику и армянскую чеканку. И задрапировали скучный промышленный пейзаж воздушной индийской органзой. Вечерами они наполняли комнаты тёплым светом настольных ламп и абажуров. Днём увивали стены изумрудными кистями тропических лиан и глянцевого листьев разлапистых фикусов. А воздух наполняли жирными запахами украинского борща с чесноком и румяными пампушками, жареных домашних котлет и ароматами абхазских лимонов. Они делали главное, что могла сделать женщина в доме, — иструпиленно и каждодневно наполняли его жизнью и смыслом.

Когда этих женщин не стало, квартира Ивана Сергеевича начала приходить в упадок. Исчезли запахи пампушек с чесноком и абхазских лимонов. Увял фикус, иссохли до безжизненных плетей тропические лианы. Потрескалась белая эмаль оконных рам. Истончилась до паутины, а кое-где и порвалась индийская органза.

Иван Сергеевич ходил сюда только переночевать. В выходные бежал прочь — в захламли́нный городской парк или к редким друзьям-товарищам. Осенью и весной — на охоту, на берега родной Паденьги. Только бы не дома, только бы не в одиночестве, которое съедало его изнутри. Он и лаечку взял по той же причине. Именно он назвал её Бьянкой, что по-итальянски означало Белая. Давным-давно, во времена студенческой юности студент Форстер увлекался итальянским Возрождением и до сих пор помнил кое-что из этого певучего языка.

Жизнь в человеческой квартире пришлось по душе Бьянке с первых минут её переезда. Правда, здесь не было матери и братьев, не было прежних весёлых игр, тепла бескорыстной любви. Главное — не было их запаха, отчего лаечка первое время поскуливала и даже несколько раз пускала слезу. Зато в её жизни появилось много нового. Два раза в день — утром и вечером — они с хозяином гуляли. Иван Сергеевич надевал ей кожаный ошейник, цеплял поводок, и они спускались на улицу. И каждая прогулка оборачивалась для Бьянки чредой необыкновенных открытий. Тысячи новых запахов врывались в её чуткий нос, когда хозяин открывал скрипучую дверь подъезда. Сотни образов, предметов и живых существ перебежали дорогу, снова мимо, останавливались или стремительно падали вниз.

Так она познакомилась с голубями, которые ни в какую не хотели подпускать её к себе. Со старым бульдогом из соседнего подъезда по имени Бернард Шоу, который всякий раз очень деликатно нюхал у неё под хвостом, всякий раз говорил: “Простите!” — и с задумчивым видом члена аристократического клуба удалялся по своим неотложным делам. Обнаружила она источающую целую палитру чарующих ароматов местную помойку, которую охраняла армия злобных крыс, два плешивых кота и старая беспородная сука, готовая разорвать каждого, кто подступится к её владениям. Тут же, шагах в ста от помойки, возле автобусной остановки Бьянку встречал старый татарин Алим; у него здесь размещался собственный “бизнес” — крохотная будка, наполняющая воздух окрест жирным запахом гуталина, кожи, красок и крепко заваренного чая. С утра и до позднего вечера татарин чистил местному населению сапоги да ботинки, подбивал стальные набойки на каблуки, занимался мелкой починкой, торговал разноцветными шнурками и заграничными средствами, позволяющими держать обувь в чистоте

и порядке. Алим носил на голове чёрную татарскую тюбетейку с шёлковой кисточкой, передник из грубой дерюги и тёплые самовязанные носки, которые не снимал ни зимой, ни летом. Руки его были вечно черны, но глаза добрые, улыбающиеся. Завидев Ивана Сергеевича и Бьянку, старый татарин выбирался из своей будки и приветливо кланялся обоим. И непременно дарил Бьянке какой-то малый гостинец: печенье, кусочек сыра или вишнёвую карамель. “Какой же красивый у тебя собак, Иван Сергеевич, — цокал языком старый татарин, — ну, чисто снег!” Алим и сам всю жизнь держал собак. Но теперь, на склоне лет, оставшись совсем один, он боялся заводить себе нового друга. Знал, что, скорее всего, умрёт раньше. И не хотел оставлять его сиротю.

На автобусную остановку рядом с будкой Алима каждые пятнадцать минут сходили приезжие люди. Или собирались, чтобы уехать в другие концы посёлка, а может быть, и в другие страны. Да и пахла остановка совсем иначе. Тысячи незнакомых запахов тысяч людей отпечатывались на остановке, её асфальте, на стеклах и железных поручнях. Юная Бьянка часто не знала их названий и назначения, лишь нервно принюхивалась, трясла хвостом, то и дело поглядывала на Ивана Сергеевича. И виновато поскуливала: мол, прости, хозяин, этого я ещё не понимаю.

Иван Сергеевич не журил её за это. Короткими пальчиками, похожими на сосиски, гладил по холке, почёсывал за ушами и тихо улыбался чему-то своему.

Дома после каждой прогулки хозяин брал Бьянку на руки, нёс и ставил в большую чугунную ванну, где тщательно промывал душем от грязи все её четыре лапы, а потом досуха вытирал одним и тем же махровым полотенцем.

Чистые лапы позволяли Бьянке забираться на диван, в глубокое кресло, обтянутое коричневой кожей и даже иногда на кровать Ивана Сергеевича. И потому она даже не сопротивлялась ежедневным водным процедурам.

Конечно, у Бьянки была и собственная удобная лежанка, сотворённая доктором Форстером из старого драпового пальто покойной матери, приобретенного ею по случаю в Марьинском мосторге в самом конце шестидесятых. Лежанка была из педагогических соображений устроена в коридоре рядом с двумя мисками: для воды и для пищи. Однако, как и во всякой педагогической системе, в системе воспитания Ивана Сергеевича имелись всевозможные бреши, исключения и отступления. А потому, несмотря на определённое ей в семейной иерархии место, Бьянке ничего не стоило с виноватым видом пройти в комнату, где Иван Сергеевич в это время смотрел телевизор, и улечься у его ног. Или пробраться посреди ночи в спальню. Постоять несколько минут. Вздохнуть. И, не услышав приглашения, вновь уйти в коридор.

Ветеринарный врач Форстер вовсе не был страстным собачником, как это могло показаться на первый взгляд. Некоторых собак, как мы знаем, он даже усыплял. Бывало, и Бьянке от него доставалось. Особенно в начале их совместной жизни, когда глупый ценок изгрыз его выходные итальянские ботинки и несколько раз описал джинсы, по неряшливости Форстера оставленные на полу возле кровати. Однако опытный врач и сочувственной души человек Форстер исповедовал очень простую, жаль, не доступную собакам философию: наши друзья живут с нами слишком короткий срок. Вот пусть и живут счастливо. Безусловно, эта философия относилась и к его новой любимице.

Зима пришла только в конце декабря, перед самыми новогодними праздниками. Именно тогда Бьянка впервые в жизни увидела снег. Вышла утром с Иваном Сергеевичем из подъезда и обомлела. Всё вокруг вдруг стало белым. И чёрный асфальт. И крыши домов. И небо, из которого сыпало сухой манкой. Осторожно принюхалась. Запах был никаким. Разве что совсем чуть-чуть напоминал ржавую воду. Она лизнула снег — осторожно. Тот оказался холодным и через несколько мгновений превратился на её горячем языке в обыкновенную воду. “Вот как, — поняла Бьянка, — эту штуку можно есть и пить одновременно”. Очень скоро узнала она ещё об одной особенности снега: на нём оставались следы. Прежде она остро чуяла даже слабый

или, наоборот, слишком сильный шлейф каждого следа, оставлял его человеком или, например, воробей. А теперь следы она видела. И это неожиданное открытие разбудило в Бьянке неведомое доселе чувство, потаённую страсть, которая пока дремала в глубине её невинной души, но готова была заявить о себе с первородной силой. Совсем ещё по-щенячьи, то опуская нос к земле, то поднимая его кверху, то и дело взбрыкивая и прибавляя шагу, Бьянка пробежала, увлекая Ивана Сергеевича за собой, вслед за тонкими иероглифами, что оставила на снегу крыса. Но возле помойки вновь принялась, огляделась и теперь уже пошла по кошачьему следу в противоположную сторону. “Давай, давай, Бьянка! — подбадривал её хозяин, поскальзываясь и едва поспевая за ней с поводком в руке. — Вот хорошая собака, вот умница!” За что он хвалил её, Бьянка не слишком понимала, ведь ей и самой нравилось распутывать пахучие хитросплетения, чувствовать их свежесть, глубину и узнавать в каждом того или иного зверя или человека. И находить его, если нужно. Пусть для собаки это была увлекательная игра, но в ней уже проявлялись скрытые покуда задатки лаячьей её породы.

Её хвалили. И сам Иван Сергеевич. И старый татарин Алим, и даже случайные прохожие, что спешили через двор от автобусной остановки.

Сиротка появилась в их с хозяином жизни именно таким вот незамысловатым образом. Шла от остановки через двор в сторону своей институтской общаги и остановилась перед Бьянкой, даже присела рядом. И протянула свою ладошку. Ладошка была влажная. Пахла потом и шерстью от варежки.

— Какой чудесный щенок! — сказала Сиротка, оборачиваясь к Ивану Сергеевичу. — Можно его погладить?

— Это девочка, — ответил Иван Сергеевич, — Бьянка. Она любит, когда её гладят.

Сиротка почесала собаку за ухом. Потом потрепала белую пушистую холку, погладила по голове. Бьянка чихнула, вновь натянула поводок.

На Сиротке была коричневая шубка под каракульчу, чёрные зимние ботики с опушкой, серая кроличья шапка, а за спиной — синий рюкзак, в котором — несколько общих тетрадей, пара учебников, пакет кефира, батон хлеба да упаковка пельменей из супермаркета.

— Вы здесь живёте? — спросила Сиротка, глядя Ивану Сергеевичу прямо в глаза.

— Да вот, живём, — ответил тот, отчего-то смущенно потупясь.

— Значит, мы соседи, — улыбнулась Сиротка. — Знаете общагу политеха? Там теперь мой дом. Правда, с собаками там жить не разрешают, а то я бы взяла себе какую-нибудь собачонку. У меня в детдоме была Жужка. И кошка Муля.

— Учитесь, значит, — кивнул Иван Сергеевич.

— Осенью поступила, — отвечала Сиротка. — Для нас, детдомовских — специальные квоты. Так что это было несложно.

За те несколько минут, что Бьянке пришлось стоять рядом с хозяином, Сиротка успела рассказать и о своём тяжёлом житье-бытье в Ивановском детском доме; и о том, как она, преодолевая многие препоны, поступила-таки не в заштатное училище, именуемое нынче на иностранный манер “колледж”, а в самый настоящий московский университет, который, как помнил Иван Сергеевич, прежде был ничем не примечательным институтом. Рассказала Сиротка и про общагу: днём и ночью царят там пьянка, наркота и иной разврат, от которого не укрыться даже в собственной комнате, где проживает она с ещё двумя весёлыми девчонками из Мордовии и Республики Коми.

— Хотите, я буду выгуливать Бьянку? — предложила в конце своего чересчур откровенного монолога Сиротка. — Мне это совсем не сложно! Наоборот. Знаете, как я скучаю по своей Жужке! Да и от этого сумасшедшего дома, — кивнула она в сторону общаги, — какой-никакой передых. Если, конечно, ваша супруга не будет против.

— Нет у меня супруги, — вздохнул ветеринарный врач Форстер, не замечая, как оживились при его словах острые глазки Сиротки, — так что никто не против. Приходите, когда время будет.

Сиротка оказалась девушкой цепкой. С тех пор приходила к ним точно по расписанию — каждый вечер после занятий. И упёрто гуляла с Бьянкой минут по тридцать, по сорок. Сердобольный и в женской психологии мало что понимающий Форстер вскоре начал приглашать Сиротку согреться после таких прогулок горячим чаем. Впоследствии церемонно предложил ей остаться на ужин, который собственноручно сварганил из купленной на рынке парной баранины. Да ещё и сёмужки малосольной надыбал, да небольшой кусочек осетрины горячего копчения, да бутылку шампанского “брют”. Словом, готовился к романтическому ужину всю субботу. Стол накрыл батистовой скатертью с андалузской вышивкой, которую по каким-то своим причинам оставила ему цыганская жена. Достал из буфета два утончённых бокала “Розенталь” на высоких ножках, что подарил ему некий банкир в благодарность за спасённого терьера. Даже вынул из бархатной коробки серебряные приборы ещё дореволюционных времён, доставшиеся ему от деда — видного архангельского лесопромышленника, сгнувшего без вести в колымских рудниках в конце лихих тридцатых.

Девушка к этой встрече тоже приготовилась ответственно. У соседки из Мордовии выпросила выходное платье с глубоким декольте из тонкого кофейного кашемира. У той, что проживала в Республике Коми, — итальянские туфельки на высокой шпильке. Марافет наводила с самого утра. Ровняла да красила едва заметным лаком ногти на руках и ногах. Закрывшись в душе, брила волосы подмышек да внизу живота. Долго мыла голову с шампунями для объёма да с кондиционерами, да с отдушками разными. Потом больше часа укладывала волосы в причёску. Волосёнки-то у неё были, честно сказать, слабоватые, жидкие, так что пришлось потрудиться: спрыскивать их лаком да какой-то пенкой, и муссом, да в завершение скрепить всё это художество при помощи фена да специальных гребней. Затем ей понадобился ещё час, чтобы нанести на лицо макияж — немного пудры на скулы, на ресницы немного туши, совсем чуть-чуть румян, обозначила контур губ, добавила слегка помады, чтобы было не ярко, не броско. Последний штрих — за ушами и на шее распылила из тяжёлого флакона немного туалетной воды “Амаридж” от Дживанши.

Аромат этой воды Бьянка запомнит на всю свою жизнь как аромат предательства и измены.

Однако в тот вечер, когда Иван Сергеевич позвал на ужин Сиротку, ничто не предвещало беды. Форстер нарядился в свой единственный костюм и даже сподобился пришить к пиджаку нижнюю пуговицу, без которой носил его не меньше четырёх лет. В комнате играла медленная музыка из французского кинофильма, на столе оплывали свечи с запахом зелёных яблок. За окном в кофейном свете уличного фонаря медленно кружились снежные хлопья. Сиротка долго отряхивалась от них в прихожей. Сбрасывала с тонкого платка, которым прикрывала свою выдающуюся во всех смыслах причёску, с шубки под каракульчу, с ботинок в кроличьей оторочке. Иван Сергеевич и Бьянка суетились рядом. Врач принимал у гостей верхнюю одежду, а собака приветливо потягивала ей, крутила хвостом и всячески демонстрировала свою благодарность и любовь. “Фу, Бьянка! — даже несколько раздражённо отмахивалась Сиротка, когда та пыталась лизнуть её в лицо. — Ты мне весь макияж слижешь! — Отойди, Бьянка! — вторил гостье Иван Сергеевич. — Здесь и без тебя не протолкнуться”. Отбежав немного назад, в комнату, где был накрыт праздничный стол, и устроившись, словно в засаде, на своей подстилке, Бьянка теперь следила, как Сиротка надевает на свои изящные ножки итальянские туфли с блестящей застёжкой, как стоит перед зеркалом, прихорашиваясь, одёргивая платье со всех сторон, поправляя прядки волос в причёске и блестящий кулончик на изящной шейке. Отсюда, с тёплой собачьей лезанки Сиротка казалась Бьянке божеством, явившимся в их дом, чтобы одарить и Ивана Сергеевича, и Бьянку своею любовью и красотой. Ни слов таких, ни образов, молодая лайка, конечно, не знала, но чувствовала она происходящее вокруг именно так. Просто испытывала блаженство и счастье.

Сиротка с Иваном Сергеевичем тем временем перешли к столу. Звякнули бокалы, доверху наполненные вином, расцвели запахи поджаренной

рыбы и жареной баранины. Доктор Форстер с самых первых дней их общей жизни в квартире приучал собаку есть на отведённом ей месте, из собственной миски, а к человеческому столу и близко не подступаться, какой бы вкуснятиной оттуда ни пахло. По младенческой своей наивности, Бьянка пару раз всё же нарушила запрет, но в ту же секунду была наказана весьма крепким шлепком по заднице. Запомнила, на всю жизнь запомнила Бьянка эти вовсе и не болезненные, но очень обидные шлепки. И с тех пор к столу — ни на шаг. А тут вдруг Сиротка оборачивается к ней и протягивает баранью косточку. “На, Бьянка, возьми!”

— Вообще-то я не разрешаю ей брать со стола, — смущаясь, говорит Иван Сергеевич, — но сегодня такой день... Ладно! Так и быть. Возьми, Бьянка.

Та поднялась с лежанки. Неуверенно, словно бы ожидая в любой момент шлепка, дошла до стула, на котором вполборота сидела Сиротка, обнюхала ароматную кость, ещё раз взглянула на Ивана Сергеевича.

— Можно, Бьянка, разрешаю, — подбодрил тот.

Косточка оказалась на редкость вкусной! Обсасывая её, обгладывая тщательно, Бьянка удивлялась странности человеческой природы. Почему её сильный, всемогущий хозяин стал вдруг таким мягким и послушным рядом с этой молодой девушкой? Почему выполняет её команды? “Потому что она божество”, — решила, наконец, для себя Бьянка, блаженно зажмуривая глаза.

Медленнее и мягче струилась в доме музыка, оплавилась, пыхнули струйкой дыма яблочные свечи, кончилось вино в зелёной бутылке, а непонятная ей человеческая жизнь шла рядом, развиваясь по своим, не всегда добрым законам. Сиротка поднимаясь со своего стула, покачивая бёдрами, подошла к окну, встала, вглядываясь в кофейную ночь за пыльным стеклом. Повела плечами, будто замерзла. Она ждала Ивана Сергеевича, его рук, которые возьмут её за плечи. И прижмут к себе. А она отпрянет как бы испуганно, от неожиданности. Чтобы он понял её недоступность, её целомудрие. Чтоб сразу знал: прикосновение заслужить нужно, добиться, может быть, даже выстрадать. Что каждый следующий шаг к её молодому телу достанется этому старику только через новое обещание, через новую жертву. Маленькую, заметную едва, но всё-таки жертву.

Трюк этот проделывала она уже не раз. В совершенстве знала нюансы. Начиная с того первого, самого трудного для неё опыта, когда десятиклассницей нарочно осталась в тёмной октябрьской учительской один на один с молодым завучем, а после всего, угрожая тому оглашением страшной тайны, получила-таки достойный аттестат — гарантию для поступления в столичный университет. И потом, когда разжалобила и размягчила важного дядьку из министерства сельского хозяйства, с которым ловко разговорилась в привокзальном буфете, и тот “утешал” её потом в своём СВ до самой Москвы. И в Москве они встречались с ним мимоходом в его машине, чем заслужила она статус провинциальной родственницы и несколько решительных звонков в деканат.

Теперь Сиротке нужно было закрепиться в Москве. И ветеринарный врач Иван Сергеевич Форстер для этих высоких целей ей вполне годился. Конечно, она могла бы подобрать себе кого-нибудь поинтереснее, например, вдового профессора университета или, на худой конец, коменданта их общежития с бегающими масляными глазками. Однако такие варианты развития её личной жизни были бы шиты белыми нитками и невольно бросали бы тень на её репутацию, и без того не слишком ангельскую. А репутация, соображала Сиротка, ей ещё понадобится. Не теперь, так когда-нибудь позже. К тому же, Иван Сергеевич принадлежал к мужчинам самой правильной возрастной категории, когда любая молодая женщина с горящим взглядом воспринимается ими, словно Божий дар, подарок судьбы, Чудо. Такие уже и не взбрыкивают, как жеребцы молодые. И лишних вопросов не задают. Они, как правило, за свои пятьдесят с лишним лет всякого повидали, всё прошли, всем пресыщены. А обрушившуюся на них внезапно последнюю “любовь” воспринимают почти трагически, готовы жертвовать абсолютно всем. Благо,

в этом возрасте им уже есть чем жертвовать: и денюжат поднакопилось, и разного добра, завоеванного трудами, и какого-никакого положения. Словом, малозаметный со всех сторон, не выдающийся ничем ветеринар подошёл Сиротке как нельзя лучше. И она вцепилась в него жёсткой хваткой провинциалки.

Однако со стороны, со старой подстилки, на которой всё больше времени проводила теперь Бьянка, поведение Сиротки дурным не казалось. Даже напротив: девушка стала заходить чаще, засиживаться с Иваном Сергеевичем за чайком или бутылочкой сухого вина до глубокой ночи, а случалось, и до самого рассвета. Пару раз даже осталась ночевать. А там и вовсе перебралась со всем своим нехитрым скарбом — турецким чемаданом цвета потёртых джинсов да полосатой, набитой шмотьём сумки, с какими ездили за товаром к басурманам русские “челноки”.

Теперь по утрам из старого телевизора рвалась громкая, бодрящая музыка. Студёный воздух с улицы тянул сквозь открытую форточку. Очнувшись вдруг старая диффенбахия в жестяной банке из-под испанских оливок, чья жизнь, казалось, давно закончилась: листья увяли, а морщинистый ствол, по которому должны были бы течь ядовитые соки, усох, словно стариковские пальцы. Но вот встрепенулась, словно от какого-то неслышного зова, выстрелила крепкими стручками листьев, распушилась изумрудно, выдохнула глубоко, как после летаргического сна. Вместо старых латаных штор из индийской органзы появились новые, да такие воздушные, что ничего и не скрывали, лишь трепетали от малейшего ветерка. Усердно натёртая рукой Сиротки, блёстко засветилась армянская чеканка. Заиграла обожжённой глиной отмытая от вековой пыли гуцульская керамика. От этих перемен и сама квартирка Ивана Сергеевича словно ожила после долгого, на смерть похожего сна. А тут ещё и весна ворвалась в город. Ранняя. Нежданная. Порывистая. Вот оно как совпало!

3

Именно весной, в самом её начале, и случилась та самая история, что навсегда изменила беззаботную жизнь юной лайки снежного цвета.

Собственно, и историей это не назовёшь. Ничего особенного. Просто несчастный случай.

В тот злополучный день подопечное ветеринарному врачу Форстеру собаке стадо словно бы сговорилось устроить ему коммунистический субботник. Началось с преждевременных родов у молодой, перспективной суки по имени Герда. Первого щенка она выдавила из себя ещё до прихода Ивана Сергеевича, в восемь утра, а второй всё никак не хотел рождаться. Бедная Герда тихонько стонала, смотрела на окружающих слёзными, просящими о помощи глазами, тужилась что есть сил, но тонус матки (как сразу догадался подоспевший Форстер) был слишком слабым, а времени после рождения первого щенка прошло больше двух часов. Нужна была стимуляция. И поскорее. Наши “коновалы” обычно колот беднякам химический препарат окситоцин, который не только рвёт матку, но, подчас, и душил оставшихся в ней щенков. Форстер довольствовался старым проверенным методом: просто несколько минут массировал суке набухшие соски. Нехитрая эта процедура провоцировала выброс эндогенного окситоцина, что куда мягче и гуманнее медикаментов. Но Герде и это не помогло. Пришлось бежать в кабинет за глюконатом кальция и колоть его внутривенно. И, слава Богу, вовремя. Через несколько минут Герда взвизгнула от боли, живот её дернулся, затем ещё раз. И ещё. Из-под хвоста появился амниотический пузырь и мокрая мордочка с поджатыми под нею лапками. Щенок оказался крупным. Мордатым. Ленивым. Он-то и сдерживал остальных своих братьев и сестёр. Не подоспей вовремя Иван Сергеевич, щенок бы погубил их, себя да, возможно, и собственную мать.

Едва Форстер после таких трудов примостился чаю с сушками-челночками испить — вновь даже не крик, а ор на весь питомник: траванулся какой-то дрянью кобель Мишка. Заблевал всю подстилку, лежит в вольере чуть ли

не бездыханный. Ничего не оставалось Ивану Сергеевичу, как вложить пса на себе (а это килограммов, почитай, двадцать) в процедрную, чистить, промыть ему желудок да лекарствами снимать интоксикацию, капельницу ставить, а в другую вену ещё и витаминчиков прокапать опять же за собственный счёт. Мишку он любил. Сам доставал его три года тому назад из матери хромированными щипцами, делал искусственное дыхание рот в рот. Разве забудешь такое? Только откачали горемыку, несут щенка с вывихнутым суставом. Куда уж он там залез, каким хитрым образом умудрился покалечить переднюю конечность, осталось загадкой. Может, прыгнул неудачно. Или угодил лапой в щель. С молодыми собаками такое бывает. Пострадавший стоял перед Иваном Сергеевичем, поскуливая, приподняв больную лапу, словно прося прощения за то, что доставил врачу хлопоты. Пришлось Форстеру вновь браться за шприцы, колоть несчастному димедрол пополам с анальгином, фиксировать лапу шиной да категорически требовать, чтоб щенка на неделю перевели в отдельный вольер.

Но и на этом дело не кончилось. Ближе к сумеркам подлецы электрики, что тянули по соседней улице кабель неведомого предназначения, без предупреждения или хотя бы извинения вырубili электричество. Сделали они это, скорее всего, не злонамеренно, а по причине природного российского разгильдяйства и охломонства, а также не имея привычки думать о ближних своих, пусть даже ближние эти и страдают в результате их так называемого труда. Тут уже директор питомника Владлен Маратович по рыжим скользким проталинам да через узкие, с кусками грязного льда траншеи, что успели наваять электрики, ринулся к прорабу. Кургузый нетрезвый этот мужик в чёрной куртке на синтепоне мрачно посасывал сигаретку подле завоженного в жидкой грязи экскаватора. Теперь он зло пускал в директорское лицо ядовитый голубой дымок, охаживал забористыми матюгами и одновременно объяснял генеральскому сыну всю тяжесть труда энергетиков. Однако недолго — послал Медведева куда подальше, ещё и кулаком, солидолом вымазанным, погрозил ему в спину.

То и дело спотыкаясь в тёмных коридорах и на лестницах, вернулся в кабинет Медведев сам не свой. Звонил по телефону, орал на кого-то, срываясь, но его, видать, никто слушать не собирался, а тоже посылал куда подальше. Так что Медведев теперь сидел в кабинете без света, одинокий и всеми униженный.

Иван Сергеевич тоже маялся и страдал чрезвычайно по причине отключения от энергосетей своей собачьей клиники. Он не мог использовать операционную лампу, не мог стерилизовать инструменты в автоклаве, не мог, случись что, провести со своими пациентами неотложные манипуляции. Но главное — медленно, но верно терял фреоновые силы лабораторный итальянский холодильник, где у Ивана Сергеевича хранились под замком главные сокровища: тщательно подобранные и быстро портящиеся лекарства, редкие ветеринарные препараты, даже несколько литров плазмы в специальных пластиковых контейнерах. Сколько упрашивал он Медведева купить хотя бы маленький, самый дешёвый генератор, чтобы на всякий случай часов на десять-пятнадцать обезопасить фармацевтические запасы питомника. Но директор жадничал, ломал, как обычно, дурку про отсутствие денег.

То ли совесть допекла энергетиков и те принялись наконец за дело, или, может, растрогали отчаянные взывания Медведева к районному руководству и покровителям, а вернее всего, сам Господь Бог сжалился над своими тварями. Всего-то через три часа электрические потоки вновь потекли по кабелям и медным жилам, озаряя подключённые к ним жилища светом, радостью и теплом.

Настроенный на ночное аварийное бдение, даже на возможную эвакуацию содержимого из служебного холодильника в домашний, Иван Сергеевич нежданной радости не чаял, блаженно перекрестился в ближайший угол, в котором у него на месте икон висел плакат с изображением внутренних органов собаки. Затем подошёл к шкафчику, вынул початую бутылку коньяка, плеснул пятьдесят грамм и опрокинул в рот. Зажмурился. И выдохнул — горячо. Коньячишко был, мягко говоря, не из дорогих, а потому продрал нутро

всеми своими сивушными маслами и химическими добавками. Форстер же всегда заканчивал свой рабочий день именно так — добрым глотком дешёвого коньяка.

Весна уже разнеживала город своими бабьими ласками. По мостовым неслись потоки звонко журчащей воды. Полнила хмельным соком чёрные ветви деревьев и кустарников. Солнце припекало обманно, по-летнему. А воздух... То ли от солнечного света, то ли от вечного тепла дальних стран, где он зародился, источал какой-то замечательный и живой аромат, вселяющий в душу ни с чем несравнимое чувство надежды и безотчётного счастья. Впрочем, ночами было ещё морозно. И всякая душа хотела в такие дни для себя надежды и счастья. Замолкали ручьи. Мостовые прихватывало ледком. А человеческое дыхание превращалось в пар... И колко щипало уши.

Иван Сергеевич шёл от питомника до автобусной остановки быстрым шагом, приподняв воротник старого демисезонного пальто, из которого выбивался такой же старый (покойная мама подарила на тридцатилетие), но все ещё мягчайший шерстяной шарф, произведённый смуглыми руками индийских текстильщиков из штата Джамму и Кашмир. Торопился ветеринарный врач Форстер домой, где ждала его молодая женщина в шёлковом халате, под которым он мог без предупреждения и без спросу нащупать налитые волнующие до сердцебиения груди; где ждал его вкусный ужин без изысков, но оттого особенно домашний; где ждали тапочки на войлочной подошве — бесшумные и тёплые. Где бурчал очередные нелепости про нашу жизнь цветной японский “ящик”. Где ждал доктора Форстера тёплый душ, постель с накрахмаленным до снежного хруста бельём, а главное — ещё одно живое дыхание. Всего за несколько недель его холостяцкая нора стала семейным гнездом. Настоящим. Словом, домой торопился Форстер. К бабе своей торопился.

Но Сиротка встретила ветеринарного доктора не так, как всегда. Дверь открыла одновременно со звонком. Видно, давно стояла с той стороны. Не могла дождаться его возвращения. Иван Сергеевич понял: случилось что-то непоправимое. Сиротка смотрела на него, как глядят на вредное насекомое. С брезгливостью и желанием раздавить. На бледном лице девушки расплывались красные пятна. Словно остатки пролитого морса по чистой салфетке. Тонкие пальцы сплелись в трясущийся кулачок, тоже бледный. Нижняя губка вздрагивала, делая её лицо детским и злым.

— Что случилось, малыш? — спросил доктор Форстер свою юную сожительницу.

— Что случилось? — переспросила, зло паясничая, Сиротка и протянула Ивану Сергеевичу свой замшевый сапог. Неуважительно протянула, ткнула под нос, чтобы ветеринарный врач хорошенько рассмотрел разодранное в клочья голенище, коричневую молнию, безжизненно свисающую вниз наподобие дохлого червя, обглоданный тонкий каблук. По всему выходило, что смерть сапога наступила от острых зубов Бьянки, и именно она — причина. Иван Сергеевич опустил голову виновато, словно это он сам порвал Сироткин сапог.

Выдохнул обречённо:

— Мне очень жаль.

— И это всё, что ты способен сказать?! — взвилась Сиротка. — Я, как проклятая, откладывала с каждой стипендии крохи на сапоги, неделями жрала всякую дрянь, чтобы сэкономить. А тебе очень жаль?! Сволочь! Жалко ему. Я тут гроблюсь. Стираю его говённые трусы. Готовлю ему! Глажу! А ему, оказывается, жаль. Вот сволочь какая! Старая бездарная сволочь!

— Я куплю тебе новые сапоги, успокойся, — попробовал утихомирить сожительницу Иван Сергеевич. Но та не слушала, распаялась всё громче и яростнее.

— Да тебя с твоей собакой на живодёрню мало отправить. Дряни! Я их, идиотка, тут обслуживаю, как на курорте, а они мои сапоги жрут! Да ты хоть понимаешь?! Понимаешь, чем я жертвовала, чтобы купить себе это! Нет, ни хрена ты не понимаешь. Ты просто урод. Моральный урод. И сука твоя грёбаная.

И, совсем срываясь на визг:

— Чтоб я тут её больше не видела!

Доктор Форстер стоял, понурясь, перед визжащей Сироткой и рассматривал извилистые узоры старой паркетной доски. Они напоминали ему круги на мёрзлом пруду.

Увидел, как Бьянка зашуганным зверьком метнулась за спиной Сиротки, спряталась за диваном. “Молодец, дружок, — подумал доктор Форстер, — от этой гражданки сегодня лучше держаться подальше”.

Пока снимал пальто, расшнуровывал старые, многократно латанные в обувной лавке Алима башмаки, искал бесшумные тапочки на войлочной подошве, а потом тщательно, по врачебной привычке, мыл руки в ванной, Сиротка продолжала крыть его и Бьянку самыми последними, самыми обидными словами, распаляясь ещё и оттого, что Иван Сергеевич её не слушает, а занимается своими делами. Наконец, крики замолкли, послышались торопливые шаги и грохот захлопнутой двери.

“Слава тебе, Господи!” — прошептал Иван Сергеевич и устало присел на диван, тот самый, за которым укрылась присмирившая Бьянка. “Ну, зачем ты, негодница, сожрала её сапог? — укоризненно прошептал доктор Форстер. — На худой конец, могла бы сгрызть мой ботинок. Чем она так тебе досадила?”

Умей Бьянка говорить, она бы объяснила хозяину, отчего приключились все их сегодняшние беды. Начала бы с того, что Сиротка позабыла вывести её утром во двор, хотя должна была делать это, когда Иван Сергеевич спешил на службу раньше обычного, например, сегодня. Но Сиротка этого не сделала, упорхнула в институт. А когда вернулась в обед, увидела на ковре тёмное пятно, едко пахнущее собачьей мочой. И хотя ковер был не её собственный, мысль, что придётся убирать, чистить его за этой сучонкой, сильно разозлила Сиротку. Промокнула пятно половой тряпкой, принялась наотмашь хлестать ею по собачьей морде. “Нельзя дома сеять, — шипела зло, но и с удовольствием Сиротка, — нельзя дома гадить!” Никогда прежде не позволял себе Иван Сергеевич лупцевать Бьянку. Он даже голос на неё повышал всего несколько раз. А тут какая-то девчонка хлещет её наотмашь! Гадкой тряпкой наотмашь! По морде! По глазам! И ещё! И ещё! То, что испытала в эти мгновения белоснежная лайка, нельзя было назвать обидой. Что-то внутри неё оборвалось. Собака с визгом бросилась под диван. “Учти у меня, — догонял её злобный голос, — ещё раз такое увижу, выкину отсюда нахер”.

Уткнувшись мокрой от слёз мордой в чей-то старый носок, давно забытый за диваном, Бьянка вспомнила вдруг самую первую осень своей жизни. Тёплый живот мамы, в который можно было зарыться с головой и долго лежать в окружении её тепла и чудесного запаха, чувствуя себя защищённой и совершенно, без облачка, счастливой. “Где ты, мамочка? — позвала Бьянка. — Защити меня!” Но мать была далеко и не слышала зова своей дочери. И не могла её защитить. Ответом Бьянке был только шелест часовой стрелки по циферблату настенных часов с изображением фиолетовых гладиолусов, один из ранних ноктурнов Сен-Санса, низведённый ручной радиоприёмника до волшебного и едва различимого шёпота эльфов да раздражённые шлепки босых ног по паркету. Вскоре их сменил перестук каблуков — тоже сердитый. Не хотелось бы Бьянке попасть под эти каблуки. Остро пахли они жирной ваксой и застарелым потом Сироткиных ног. И от этого запаха, от страха перед этими каблуками и этой женщиной Бьянку начинало подташнивать. А откуда-то из глубины её собачьей души поднималось, ширилось новое, неизведанное чувство. Через мозаику генетических кодов, веретёна ДНК, смешение кровей десятков, нет, сотен предков, вонзивших свои могучие корни в скалы уральского хребта и вечную мерзлоту заполярной тундры, просыпалась в белой лайке несокрушимая древняя страсть к победе, дремавший до времени дух охотника и борца. Ещё не понимая этой силы, этого первобытного духа, лишь подчиняясь его неодолимому могучему зову, Бьянка вся напряглась, прижала уши и уже не сводила глаз с ненавистных ей вонючих каблуков. Но лишь только скрылись они за входной дверью и часто-часто зацокали по лестнице вниз, выбралась из-под дивана и белым призраком

в сумеречном пепле проследовала в прихожую. Здесь она глубоко втянула поздравляющий воздух и сразу же почувствовала, откуда исходит знакомый смрад. Итальянские зимние сапоги стояли на верхней полке. Сиротка их толком ещё и не носила, но запах её ног Бьянка ни с чем другим спутать не могла. Этот запах взывал к отмщению. Он был рядом, на расстоянии прыжка. И Бьянка прыгнула. Вцепилась в сапог намертво, всей челюстью. И потом рвала его и рвала, сплёвывая кожу и шерсть, упиваясь смрадом ваксы и человеческих ног, которые хотелось разорвать в клочья, в тлен, в мертвечину. Она рвала сапог, покуда не обессилела. Тогда бросила его останки на самом видном месте в прихожей. А в гостиной подошла к пятну на ковре, которое Сиротка решила оставить в качестве вещдока до возвращения сожителя, понюхала его и, присев, сделал новое пятно — рядом. Посмотрела в сумеречное окно на яичный свет первых фонарей и не спеша ушла за диван. “Будь что будет”, — решила Бьянка. Через несколько мгновений она уже спала коротким беспокойным сном.

Если бы лайка могла говорить, она бы, конечно, рассказала своему хозяину и о том, как голосила, хрипела и брызгала слюной прежде смиренная Сиротка, когда наткнулась на свою растерзанную обувь, какой отвратной площадной бранью разразился её нежный ротик, лишь только заметила на ковре ещё одно произведение Бьянки, полное не только пахучей влаги, но и отчаянного вызова, бесстрашия, отваги.

Когда торнадо в соседней комнате, наконец, уgomонилось и даже перестало злобно шуршать шлепанцами, доктор Форстер вполголоса позвал Бьянку, и та не заставила себя упрашивать: за диваном послышалась негромкая возня, лёгкий цокот когтей по паркету, наконец, жаркое дыхание рядом. Иван Сергеевич протянул руку и потрепал собаку по жёсткой шерсти на холке. Та в ответ несколько раз лизнула его руки. Потом доктор оделся, и они вышли на улицу. Бьянка говорить не умела. Только пристально долго смотрела в человеческие глаза. И тихонько постукивала. Ивану Сергеевичу, который без малого двадцать лет прожил с собаками бок обок, и говорить ничего было не нужно. В пристальном влажном взгляде Бьянки он читал многое. Если не всё.

Наступило то время суток, когда добропорядочные горожане и горожанки вкусили чаю с бутербродами, другие же уговорили первый пузырьёк беленькой, закусывая её консервированными огурцами и малосольной сельдью в прованском масле. Наступил тот волшебный час, когда почти весь наш народ, раззявив рот, вперился заворожённым взглядом в цветные мелькающие картинки — предался интеллектуальному соитию с ТВ. Наступил обычный русский вечер. Такой же, как и все.

Окна домов переливались нервным телевизионным сиянием. Яичной болтушкой светились уличные фонари. Битыми стекляшками хрустел ледок под подошвой ботинок. Наискосок через двор медленно брёл доктор Форстер вместе со своей собакой, и редким прохожим казалось, разговаривал сам с собой. А он говорил с нею.

— Знаешь, Бьянка, — вздыхал Иван Сергеевич, — я ведь человек немолодой. Мне уже давно за пятьдесят. А жизнь всё не складывается. Не клеится моя жизнь. Раньше казалось — всё впереди. Всё самое лучшее ещё будет. Оглянулся, а жизнь-то промчалась. И ничего хорошего в ней так и не произошло. Ни семьи. Не жены. Ни детей. Ничего у меня нет. Да что там! Даже друзьями, и то не обзавёлся. Про работу не говорю. Двадцать лет на одном месте. Прежде, помню, всё к чему-то стремился, чего-то искал, а теперь и этого не хочу. Скучно стало жить, Бьянка! Неинтересно! Невыносимо! Тошно стало жить у нас в стране. У всех мысли только про корм да про деньги, чтобы корм этот приобрести. За десять лет народ превратился в скот. В рабскую страну, где всякому дороже собственная шкура. Прав, прав мудрец Конфуций: для управления только и нужно, чтоб у народа был полный желудок и пустая голова. Говорил он, конечно, в оны века о китайцах, но, Господи, как всё это созвучно с нынешней Россией!

Собака в ответ на безрадостный голос хозяина оборачивала к нему чуткую мордочку, ловила взгляд. Но Форстер упорно смотрел себе под ноги.

— Да и чем я от них отличаюсь? — спрашивал не пойми кого Иван Сергеевич. — Да ничем! Такая же тварь. Даже не сопротивляюсь. Обнаглевшую девчонку унять не могу. Вякнуть поперёк не смею. А уж за тебя, зверушка, заступиться и подавно!

Тут он остановился. Почувствовав позади себя тишину, остановилась и Бьянка. Подошла к Ивану Сергеевичу, села возле его ветхого башмака. Прямо-таки прижалась к ноге, так что доктор сквозь штанину почувствовал её животное тепло. Она отдавала его просто так, от бесконечной любви к хозяину.

— Знаешь, что, Бьянка, — сказал Иван Сергеевич и склонился к собаке, заглядывая ей в глаза, — она тебя доконает, эта Сиротка. Да и не место охотничьей собаке в городской квартире. Тебе лес нужен. Простор. Свобода. Глупая ты моя... Ты даже не знаешь, что это такое. А для тебя это будет счастье. Это же твоя стихия! Я тебя, собственно, для этого и брал — для леса. Думал, осенью поедем в Астахино, на охоту. Теперь вот придётся добираться туда весной. Ну, что, ты согласна?

Бьянка не знала, что такое стихия. Не знала, что такое лес. Про дальнюю деревеньку Астахино тем более не слыхивала. Однако Иван Сергеевич говорил с ней таким голосом, что белоснежная лайка даже помыслить не могла, будто он мог желать ей дурного. Неопытное её сердце не подозревало лжи, измены. В ответ она лизнула доктора Форстера прямо в губы.

4

Тлеющей весенней ночью добирался Иван Сергеевич вместе с Бьянкой на визжащем сцепами, пахнущем человеческой мочой и горелым углем поезде “Москва — Архангельск” до мимолётной, как вскрик, станции Вельск. Оттуда на перебранном в местных автомобильных мастерских “форде” во семьдесят пятого года выпуска, у которого натужно ревел худой глушитель, а оконное стекло со стороны пассажира дребезжало и падало, так что его то и дело приходилось поднимать, — ещё почти сто вёрст до заветной своротки на грунтовую дорогу, по которой в хорошую погоду да посуху до Астахино проехать ещё не меньше часу, а по весенней-то хляби, по русской-то непролазной грязи — целых два, и то в случае удачи.

С грунтовки деревню видать только краем. Упирталась она за быстроводной в эту раннюю пору Паденьгой, с остальным миром соединяясь узким, раскачивающимся, грозящим рухнуть в мутные воды навесным мостком, по которому только и можно в деревню добраться.

Рассчитавшись с “бомбиллой”, Иван Сергеевич закинул за спину рыжий рюкзак с потёртыми до скользкой черноты ляжками, взял в левую руку зачехлённую “тозку”, в правую — щегольский кожаный поводок, к которому была пристёгнута стальным карабином лайка, и неспешно двинулся по скользкому глинистому склону к мостку. На самой середине его Бьянка вдруг остановилась — каменно. Нет, её не испугал бегущий под нею речной поток. Лайка подняла белоснежную морду вверх, к небу и слышно несколько раз потянула влажной подушечкой носа. Этот воздух... Вольный, дикий, полный запахов речной влаги и только что освободившейся от снега земли, низко стелющегося печного дыма, тепло пахнувшего назёмом хлева буквально обездвигил растерявшуюся Бьянку. Она дышала, упивалась им, чуя одновременно и порознь такие разные составляющие его запахи. Ей хотелось запомнить навсегда этот широкий, разный, пробирающий холодом северный воздух.

Но Иван Сергеевич сильно потянул за поводок и строго скомандовал лайке следовать дальше.

Хозяиство дяди Николая стояло последним в череде тёмных северных дворов, на отлёте, возле невысоких, покрытых рыжим перепревшим травьём холмов, за которыми близко начиналась архангельская тайга — глухая, тёмная.

Дядя Николай появился на этой земле шестьдесят лет тому назад, вскоре после войны, когда маманя, со всем своим нехитрым скарбом, переселилась сюда с благодатных ташкентских земель. И хотя в ту пору дядя Николай числился ещё гололобым мальцом и, уж конечно, ни черта не соображал во

внешней и внутренней политике государства, вырос он и по сей день живёт с не проходящей, глущей, словно палящая водка, обидой на родное государство. Вот уж пятнадцать лет, как лежит его маманя на дальнем погосте, под разлапистой, тяжелеющей оранжевыми гроздьями рябиной, а в дяде Николае всё не проходит ноющая, как застарелая болячка, обида. Должно быть, перетекла она к нему со словами маманиных воспоминаний, с редкими её слезами, с фотографиями многочисленной родни, что в лихие годы коллективизации, а затем войны рассыпалась, рассеялась по земле, как дорожная пыль на ветру. А уж от самого дяди Николая эта обида передалась и его жене Ольге, и дочке их единственной Маруське, что проживает в районном центре в двухстах километрах езды от Астахино и по этой причине с деревенскими родственниками общается нечасто. При своей, можно сказать, генетической неприязни к власти, политические воззрения дяди Николая представляют совершеннейший винегрет: источая ядовитый фимиами в сторону Ильича, он в то же время поёт осанну товарищу Сталину. В перестройку лоб расшибал в молитвах за здоровье дорогого народного освободителя Михаила Сергеевича, а позже на всех углах проклинал алкоголика Бориса Николаевича. Нынешних же управителей — при полных теперь, разрешённых вроде бы перестройкой свободах — он и вовсе ни во что не ставит.

При всём при этом дядя Николай был человеком набожным. Читал утренние и вечерние молитвы коленопреклонённо перед потемневшей от свечной да лампадной копоти иконой Казанской Богоматери да небесного своего покровителя Святителя Николая Мир Ликийских Чудотворца. Знал и отмечал все церковные праздники. Ревностно соблюдал посты, а помимо них и постные дни — по средам и пятницам. Старался жить по-христиански и даже не матюгался, чем вызывал у местного населения — от мала и до древних стариков — подобие глубокого непонимания и даже признания за соседом некоторого душевного расстройств. Но был и у православного человека Николая Игнатьевича Рябинина тяжёлый, непростительный грех: уж лет двадцать как не бывал он на исповеди и столько же лет не причащался. А всё по той причине, что ни в Астахино, ни в одной из ближайших деревень храма не сохранилось. Такая это была несусветная глушь, что народ без пастыря давно и желанно жил тут в беспробудном грехе. И не задумывался об этом.

Ивана Сергеевича с белоснежной лайкой на поводке дядя Николай заметил, когда те ещё колдыбались по навесному мостку да ковыляли потом по осклизлой, заполненной мутной водой, а местами ещё и стекляшками льда дорожке посереде тёмных дворов и огородин. В тот самый день, в тот самый час дядя Николай занимался наиважнейшим крестьянским делом: метал на землю-матушку назём. Земля его, целая половина гектара, каждую пядь которого не раз пропустил он через собственные ручищи, покуда не оттаяла, ещё каменно тверда была на половину штыка лопаты. Но он успел уже вывезти не меньше трёх тонн промёрзшего за зиму прошлого года назёма на дальние от дома гряды, где наметил сей год высаживать картошку. Она, родимая, любит назём прошлогодний, перепревший под солнышком. Позднее, недели через две, намечал дядя Николай, его надобно будет разметать по земле перед пахотой.

Опёршись о черенок совковой лопаты, которой он всё утро набрасывал возле хлева в ржавую тележку прошлогодний назём, дядя Николай всё смотрел и смотрел на приближающихся гостей. Обветренный до трещин, его рот в окружении пегой бородищи расплывался в осторожной улыбке, обнажавшей пордевшие ряды жёлтых от махры зубов. Лёгкий ветерок с Паденьги играючи шевелил седину, лохмато торчащую из-под кепки.

— Здорово живёшь, Ваня! — заголосил дядя Николай, лишь только тот приоткрыл хлипкую калитку с проволочным кольцом вместо закрутки.

— Здравствуй, дядя Николай! — ответно заулыбался Иван Сергеевич, протягивая ему ладонь. — Сколько мы уж с тобой не виделись?

— Да уж давненько, — кивнул Рябинин, — почитай, с прошлой весны.

Мужчины обнялись по-родственному крепко, искренне. Поцеловались троекратно. И теперь, ещё сжимая друг друга в объятиях, улыбались, всматривались в лица.

— А ты всё такой же, дядя Николай! Время тебя не берёт.

— Да и ты, Ваня. Будто вчера виделись. Только волос побелел. Да брюхом прибавил. Небось, хороша жизнь городская! Не то, что у нас!

Пока мужчины тискали друг дружку в объятиях, Бьянка сидела возле хозяйской ноги и настороженно осматривалась вокруг. Острым своим чутьём она сразу заметила рядом чужую самку, слышала, кажется, её тяжёлое дыхание и глухое, злобное рычание. Ещё не видела её, ждала, повернув голову на звук, на тяжёлый враждебный запах.

Наконец, она появилась — старая дворняга пепельного с сединой окраса, по-волчьи склонив голову и скаля жёлтые зубы, вышла из-за сарая, нехорошо, злобно глядя на Бьянку. Та испуганно выгнула, ближе прижалась к ноге Ивана Сергеевича.

— Я смотрю, ты и собачку с собой приволок? — отозвался на её скулёж дядя Николай. — Хорошая собачка. Нешто дорогая?

— Из нашего питомника, — довольно улыбнулся доктор Форстер, — лучшая в помёте! Сам выбирал. Настоящая западносибирская лайка. Вот хочу её у тебя оставить. Какая у неё в городе жизнь? А тут тайга! Простор! Свобода! Её и натаскивать не надо. Сходит несколько раз на охоту, по свежей-то крови все её дарования, все инстинкты и откроются. Это я тебе точно говорю. Собака исключительно талантливая. Сам увидишь.

Дядя Николай задумался ненадолго, поглядел из-под густых бровей с седыми подпалинами на белоснежную лайку, и по лицу его пробежала едва заметная улыбка.

— Ну, дак чо, оставляй, раз привёз в такую-то даль. Не тащцыться же с нею обратно.

Услышав его слова, старая сука вновь показала жёлтые клыки. И так, очерившись, побрела прочь, всем видом своим сообщая, что это лишь первая их встреча, и если лайке суждено остаться, главное её ждёт впереди. “Это наша земля, — говорила старая сука, — и тебе на ней места не будет”.

Всё время, покуда хозяин с дядей Николаем неспешно обедали сытным крестьянским обедом, состоявшим из наваристого с мозговой косточкой борща да телячьих битков с деревенской сметаной, и это не считая квашеной капусты, тёртой редьки с постным маслом да отменного коньячно-тёмного от целебных трав самогона, и весь вечер, когда Иван Сергеевич принялся чистить оружейным маслом своё ружьё, Бьянка не отходила от хозяина. Насторожившая уши, ловила каждый шорох, каждый звук. Вот замычала протяжно, призывая к вечерней дойке, беспокойная корова. Чем-то встревоженные закудахтали заголошно на насестах куры. Где-то за околицей одиноко взвыла бензопила. Чей-то неровный голос выводил у реки печальную песню. Брехали собаки, то рядом, то вдалеке. Потрескивали в печи берёзовые поленья. И тихим шелестом сыпала по крыше последняя в этом году ледяная крупа.

Никогда ещё не слышала Бьянка этих звуков. Не понимала их. Не ведала их происхождения. Ей ещё только предстояло запомнить их удивительную симфонию, понять их тайный смысл и предназначение.

Обитали они с хозяином от Рябиновых отдельно — в крохотной избушке на отшибе двора, с застеклённой верандой, служившей для постоя исключительно летом. Зимой она и вовсе пустовала.

Бьянка лежала возле двери, положив морду на лапы, смотрела на всполохи печного огня, на хозяина, который не обращал на неё никакого внимания, сновал вверх-вниз по ружейным стволам войлочным ёршиком на шомполе, шпикал маслом из баллончика; долго снаряжал патронташ мелкой дробью — семёркой — на рябчика и на вальдшнепа, а ещё — двойкой и единицей, если подвернётся, на удачу, зверь покрупнее. Под конец две пули вложил. Так, на всякий случай. В завершение всего Иван Сергеевич достал из рюкзака ношенный армейский камуфляж болотного цвета, кожаные офицерские берцы и вязаную шапочку. Затем выдул кружку пакетированного чая с пряничком медовым. Разделся до кальсон. Перекрестился на образ Спасителя, что мерцал в углу от тусклого огонька лампадки, погасил свет и, освобождённо вздохнув, улёгся на бок под толстым ватным одеялом. Уже проваливаясь в невесомую бездну, сказал Бьянке: “Спи давай, завтра рано вставать. На охоту”.

Утренник встретил их сахарным хрустом под ногами, тянущимися к небу столбами душистого печного дыма, кремоватыми просветами меж пластающихся по горизонту облаков, покуда ещё не поднялось из-за них скромное, как юная девица, северное солнышко. Самое время топтать и топтать теперь по холодной земле, по прошлогодней жухлой траве, слышно пружинящей под ногами. С ружьишком за одним плечом, с зачуханной котомкой — за другим, с кожаным патронташем на пузе да с собачонкой в поводке Иван Сергеевич быстрым шагом двигался в сторону ближнего леса, чтобы успеть услышать его до рассвета. Шел седьмой час утра. В эти минуты Форстер не думал ни о городе, который так стремительно и неожиданно покинул, ни о собачьем питомнике, где его возвращения ждали хворые да раненные бедолаги, ни о девушке Сиротке, от которой он сбежал с радостью. Все его мысли и чувства были впереди, ещё в километре хода, там, где просёлочная дорога нырjala в тень вековых елей, корабельных сосен и асфальтового цвета осин. Где начинался другой мир — любимой им охоты, азарта и самых неожиданных происшествий, которые не раз уже приключались с ним, чтобы стать затем в ряд его лучших воспоминаний.

Пристрастился Иван Сергеевич к этому делу лет десять назад, когда знакомый художник Самохин и бывший советский консул в Могадिशо Хабаровский хитростью заманили его в эти места “пожить на природе денёк-другой”. В те годы семейная жизнь доктора Форстера ничего из себя не представляла, иначе говоря, жизни этой попросту не было, потому как прежняя его жена обрела волю со своим ли, с чужим ли табором, новые знакомства всё чаще никак не клеились, поскольку серьёзных намерений не содержали, мама лежала в целлофановом пакетике внутри керамической урны на Востряковском кладбище. Так что предложение “пожить на природе” в свежий майский день, когда страна с надеждой переживала инаугурацию молодого президента, выглядело вполне уместным, даже интригующим.

Жизнь на природе растянулась на неделю: столичные гости жарили дикое мясо, пили горькую да путешествовали на заморском “джипе” бывшего советского консула по окрестным сёлам и деревням. Спутники Ивана Сергеевича по причине городской щедрости гляделись людьми уважаемыми. Встречные мужики из Астахино, из Верхопаденьги, да хоть и из Часовенской или Киселихи останавливались, завидев пылящее просёлком чудо американского автопрома, кланялись, скалили в приветливой улыбке уцелевшие прокуренные зубы. Бабы тоже улыбались. Но не кланялись. А девки и парни смотрели с завистью. Им тоже хотелось иметь такой транспорт — увы, мечты несбыточную.

Катились денёчки, честная компания лиходействовала по дальним свороткам, таёжным тропам и краями непролазных болот в поисках непуганой добычи. Следили со вниманием за верхушками елей и берёз, где в весеннюю пору кормились свежей почкой тетерева, а иногда и царь-птица глухарь. Отслеживали дорогу, где та же боровая дичь клевала мелкий камушек для справного перемола весенней пицци. В гуще лесной тормозили вконец уделанный грязью “транспорт”, с надеждой и опаской высматривая следы сохатого или топтыгина. Или хотя бы волчищи серого. Лушили по глупым тетёркам, подпускавшим к себе на манер деревенских кур прямо под выстрел. Или по затаившимся в придорожных кустах зайцам. Манили рябчиков на манок. А к закату выходили на тягу. Вечерами жарили на кривом проржавевшем мангале добычу. Пили “Московскую” и даже французское “Бордо”. И рано ложились спать под трескотню пылающих полешек или тёплую ласку белёной русской печи. Пару раз славно пропарились в баньке с духовитыми до одури можжевеловыми вениками, оставляющими после себя на теле густую россыпь алых уколов. В районном центре Шенкурск посетили бедненький экспонатами краеведческий музей и винный отдел гастронома. Один — из потребности в новых знаниях, другой — по причине закончившихся запасов. Так и прожили все десять дней.

И лишь только упихались с охотничьим скарбом — со всеми мешками, кофрами, патронташами, рюкзаками — в консульский “транспорт”, отмытый

колодезной водой до салонного блеска по случаю отъезда и в предвкушении малых и больших городов, вырвали, наконец, на возделанный асфальт федеральной трассы Архангельск — Москва, ударила Ивана Сергеевича тоска по оставляемым, будто родным, местам. Понял он, что за всё время ни разу не вспомнил ни дом, ни работу, ни опостылевшую московскую жизнь. словно вымыло их из сердца. Стёрло из памяти на все десять дней. А отмотав половину пути, уже на подъездах к Вологде, вдруг почувствовал сильную, незнакомую прежде тягу вернуться. Непременно вернуться сюда ещё раз!

Так оно и случилось. С тех пор доктор Форстер ездил в Астахино два раза в год, осенью и весной. Почти десять лет. И всё чаще один. Первым от их компании, соблазнившись благодатью в Беловежской пуще, отвалился консул Хабаровский. Потом и художник Самохин обзавёлся деревенской недвижимостью в ближней Тверской губернии. Остался в компаньонах у Ивана Сергеевича дальнбойщик Андрей Соловьёв, да и тот через раз отменял уговор.

...До лесной глухомани добрался доктор Форстер с Бьянкой, словно юноша, резвым шагом. Ступил под тёмный молчаливый покров и остановился оглядеться. По ухабинам и мшистым ямам, куда не успело добраться апрельское солнце, ещё лежал ноздреватый снег. Дух новой еловой крови-живицы полнил студёный воздух терпким ароматом. Там и тут оставляли на подлеске кровавые росчерки кусты татарского кизильника, из которого в прежние времена готовили жёлтую и алую краску. Мохнатились веточки можжевельника, чтобы добрый хозяин, сорвав, мог придать особый дух самогонке да навязать для бани веников, тех северных веников, от которых стонет в сладостной неге тело, и человек выходит из баньки, словно новорождённый. Ещё не расправились соком спутанные кустики брусники, но жёсткие листочки глянцево-зелены, будто и не было суровой зимы. Уцелевшие прошлогодние ягоды полны тёмным соком, вкусны и душисты пуще осеннего урожая. Такова и клюква, если не всю её смели в ведра местные сборщики, не дощипали птицы, не полакомился редкими ягодами медведь.

В эту пору лес светлый, прозрачный. Жизнь в нём только оживает после зимнего сна — каждым звуком, робкой почкой, муравьишкой, что выполз на вершину муравьиной кучи, пригретый первым, едва тёплым лучом. Славно, легко дышится здесь в такие дни. И грех кого-нибудь убивать.

А Иван Сергеевич и не торопился ружьё заряжать. Насобирав горсть прошлогодней брусники, шёл вперёд, дышал полной грудью, кидал по одной ягодке в рот и поглядывал на лайку. Поскуливая и поминутно оборачиваясь к нему, она нетерпеливо тянула хозяина за собой.

Для Бьянки всё здесь было впервые. Лишь только ступила на мягкие мхи, вдохнула влажный воздух, всё внутри неё напряглось, обострилось. Как тогда, во время ссоры с Сироткой, она вдруг почувствовала в себе страсть, свободную, неостановимую силу. А ещё — безотчётное, нутряное единение с лесом, будто она его часть, будто всегда знала это, с первых своих дней стремилась к нему и теперь вернулась. Все запахи, чьих имён она не ведала, были возбуждающи и остры. Каждый звал её за собой невидимым, лишь только осязаемым следом: одни — еле заметные, другие — сильные, будто их обладателем был тут всего лишь несколько минут назад и теперь бежит или летит между смоляных стволов сосен. Запахов этих, соблазнов было не счесть, и молодая лайка трепетала всем телом, вздрагивая и поскуливая от возбуждения. Про хозяина она забыла. Сильнее и сильнее тянула поводок. Не слышала, не видала Ивана Сергеевича. А тот и не держал её. Отстегнул карабин, потрепал по холке, благословляя на охотничью работу, которой лайка ещё не знала, но со всей страстью торопилась понять.

Близкий, свежий след Бьянка взяла сразу. Поминутно опуская морду к земле, бежала и бежала по нему, перепрыгивая поваленные деревья, обходя непролазные баррикады гниющего валежника, к высокой разлапистой сосне, по стволу которой след вдруг ушёл вверх, под широкую, терпко пахнущую крону. Всю короткую погоню Бьянка бежала молча, до самой крохотной своей клеточки сосредоточившись на запахе, который с каждым шагом становился сильнее. А неведомый зверёк метнулся вдруг с ветки на ветку пушистым пружинистым скоком. Только теперь, заметив добычу и понимая,

что её никак не догнать, Бьянка подала голос — обрывистый и звонкий, чтобы хозяин услышал её и поспешил. Так и стояла, задрав морду и не спуская с пушистого комочка зоркого глаза. Случись что, перекинйся зверёк на другую ветку, она его не упустит из виду. Когда к дереву подбежал Иван Сергеевич с ружьём наперевес, Бьянка упёрлась передними лапами в шершавый смолянистый комель и, подскрёбывая его в яростном нетерпении, непрестанно пугала полным злого азарта голосом укрывшуюся в кроне добычу.

— Ах, ты белочку нашла, — запыхавшись, похвалил собаку Иван Сергеевич, — молодец! Очень хорошо!

Поднял ружьё, недолго целился, нажал на спусковой крючок. От выстрела будто треснуло по швам высокое весеннее небо. Но даже не слышанный Бьянкой прежде чудовищный грохот не смог отвлечь её от цели. Комочек подпрыгнул и вдруг камнем рухнул вниз, прямо в середину можжевелевого куста. Лайка кинулась искать и через несколько мгновений, исколов морду и лапы пахучими иголками, несильно сжимая в зубах, вытащила подбитую белку в перепачканной кровью шоколадной щётке. Положила на влажный мох. Обнюхивала. Снова брала в зубы, ощущая чужую, горячую ещё кровь. Слушала биение чужого сердца, ещё живого. Белка вздрагивала в предсмертных конвульсиях, сонно перебирала лапками, словно хотела убежать, вновь забраться на дерево. Движения её становились короче, медленнее, дыханье — порывистее и реже. Глаза закатились. Струйка крови изо рта потемнела, стала гуще. Умерла белка. Лайка видела её стремительный уход. И только после этого вновь взяла её в зубы.

— Поддай, Бьянка! — послышался позади повелительный голос Ивана Сергеевича, — Поддай!

Ей не хотелось отдавать добычу. Впервые в жизни она выследила её, шла по следу, загнала на дерево и, не отпуская, звала охотника с грохочущим ружьём, а после выстрела нашла её в непролазных колочках. Но послушаться хозяйина не могла. Не имела права. А потому вновь прихватила зверька зубами и с понурым видом, даже обиженно понесла свой трофей Ивану Сергеевичу. Он стоял неподалёку, облокотившись на покосившуюся осину, и улыбался чему-то своему, можно сказать, радовался. Бьянка подошла, положила белку прямо перед резиновыми сапогами хозяина. И отвернула морду. А Иван Сергеевич вдруг присел перед нею на корточки и сказал ей в ухо самые важные для неё слова, которые она легко поняла и, кажется, помнила потом всю свою короткую собачью жизнь:

— Это твоя добыча, Бьянка! Это твоя заслуга. Ты — молодец. Ты — отличная, ты — самая замечательная собака!

Он обнял её за шею, с силой прижал к чёрной, пропахшей дымом и потом телогрейке и гладил, гладил, покуда собаке не сделалось нестерпимо душно. Она стала вырываться из объятий хозяина, и тот отпустил её. Бьянка ещё раз понюхала мёртвую белку. Отошла в сторону и улеглась на мягкий мох.

“Кого теперь будем ловить, хозяин?” — спрашивала она всем своим видом.

Но в тот день они не охотились больше. Вернувшись в деревню с невестомой добычей в рюкзаке и спустив с поводка собаку, Иван Сергеевич с совершенно детским восторгом расхваливал дяде Николаю небывалые охотничьи таланты Бьянки. Тот готовно кивал головой, тесал топориком какую-то чурку и слушал друга вполуха. Ольга сготовила для мужиков жирный обед, вытащила по случаю открытия охотничьего сезона литровый пузырь самогонки, от которой мужиков развезло так, что проспали они в своих койках, похрапывая, словно откормленные хряки, до самого вечера, до первых звёзд.

Вечером, часов в семь, оба проснулись с большой головой, вылезли с помятыми мордами на завалинку, где из больших алюминиевых кружек, обжигаясь о края, долго пили крепкий чай с вареньем из таёжной малины. И с ожиданием, смешанным с недоверием, глядели на антрацитовый горизонт, за которым, по слухам, а может, и правда, по расчётам военных, именно нынешней ночью яркой звездой, видной отовсюду, будет запущен с космодрома в Плесецке ракетоноситель, уносящий в немоту космоса новый спутник связи.

Говорили мало. Каждый размышлял о своём. Очень личным не хотелось делиться даже с самым закадычным другом. Иван Сергеевич вспоминал Сироткино гибкое тело. И родинку под её левой грудью, и розовый шрам — под правой. Но помнил и крики её, и перекошенное злобой лицо с вульгарной яркой краской на губах. “И что я в ней нашёл? Зачем она мне?” — спрашивал себя Иван Сергеевич. И не находил ответа. Здесь, сейчас ощущал он себя абсолютно счастливым. Вдалеке от Москвы, за тысячу вёрст от Сиротки, рядом с примолкшим дядей Николаем, с верной Бьянкой у ног... Да, здесь, сейчас, этим ранним северным вечером, с алюминиевой кружкой в руке, в ожидании запуска космической ракеты.

Дядя Николай, в свою очередь, вспоминал подёрнутую зыбкой дымкой прошлую жизнь, в которой ещё были живы мама и многие друзья, чьи улыбающиеся лица он видел словно в диапроекторе, который много лет назад купил дочери на день рождения. Крутишь колёсико, скрипит жёсткая резинка, медленно ползёт вверх кадр за кадром на растянутой в пол-избы простыне. Маруся пригласилась и тихо сопит под боком, а он всё крутит старый диафильм про девочку и трёх медведей. Было ли что в жизни лучше тех зимних вечеров, когда за окном мела, зверела завывающая вьюга? Когда в хлеву грелась подвойником молодая, ещё крепкая телом Ольга. Пахло парным молоком. Пахло сеном. Дегтярным дымком. Печка русская грела мягким жаром. По белой простыне медленно двигались картинки, и дочка сладко сопела рядом. Ничего лучшего, пожалуй, он в жизни своей так и не испытал. Да и нужно ли чего больше?

— Вот ведь жизнь! — молвил дядя Николай, очнувшись. Отхлебнул из кружки большой глоток и посмотрел на горизонт.

— Да, — эхом вторил ему Иван Сергеевич, — жизнь, она такая! — и поглядел туда же.

В тот день ракета из Плесеца так и не стартовала. Из-за бракованного реле, изготовленного на Кировском заводе имени Лепсе, обнаружился сбой в системе управления полётом. Ракета могла отправиться совсем иным маршрутом, не реагируя на команды с земли. И тогда её пришлось бы уничтожить. Никому, кроме коллег, не известный майор Евстигнеев обнаружил неисправность во время последней проверки за несколько часов до запуска. Он был представлен командованием к денежной премии. Деньги майору были очень нужны. Его жена умирала от рака печени. А он хотел её спасти.

6

Встреча лайки со старой сукой по имени Дамка произошла в ночь после её первой охоты.

За низким, копотью подёрнутым небом луна просвечивала, будто чахнувший огонёк под стеклом керосиновой лампы. Стеклярусными бусинками мерцали в просветах редкие звёздочки.

Иван Сергеевич устраивался ко сну. Бренчал оловянной соской рукой-ника. Плескал в лицо студёную колодезную воду. Фыркал. Кряхтел. Громыхал кочергой, мешая угли за чугунной печной дверкой. Зольником шебуршил, настраивая пошибче тягу. Согрев на печке алюминиевый солдатский чайник, пил чай, тёмный, будто деготь, пахучий и терпкий до горечи.

Бьянка лежала посреди комнатки, положив морду на лапы, и поводила умными глазами то на хозяина, то на печку, то на чайник. На страшную кочергу. Потом поднялась, потянулась сладко и направилась к выходу, показывая Ивану Сергеевичу, что ей нужно на улицу, по нужде.

Доктор Форстер упрямить себя не заставил. Скоро подошёл к тяжёлой, из лиственницы, двери, распахнул её в темные сени: “Иди, Бьянка!”

Тут, в холодке, ей предстояло пройти мимо бочки с комбикормом, мимо бродней, поблескивающих в углу чёрной резиной, мимо старого велосипеда, что отдыхал тут до весны, мимо полуистлевших рыбацких сетей, свисавших из такого же ветхого рюкзака; мимо нескольких пластиковых бутылей из-под пива (их по весне развесит дядя Николай в огороде для распугивания воронья, сорок и иной воровской птицы), мимо древней, от отца доставшейся

Рябишину меленки с каменными поздраватыми жерновцами. Тут, рядом, нахотился лаз для собак да кошек, чтобы те в любое время могли схорониться в домике от непогоды и внешних врагов.

Лаз Бьянка сразу освоила и пролезала в широкое устье с прибитым куском линолеума легко. Вот и теперь скользнула в него одним движением, склонив голову и изогнув спину, и через мгновение оказалась на улице. Короткое время шарила носом по земле, различая тут и там запахи чужой мочи, покуда, наконец, не выбрала себе местечко, где и присела, растопырив лапы и мелко потряхивая хвостом. Закончив свои дела, направилась, не мешкая, к лазу и словно ударилась о холодный пристальный взгляд. А дальше и тень заметила, мутную, затхлую, словно вынырнувшую из-под земли. Тень стояла обок лаза, преграждая устье, и, кажется, не собиралась уходить. Поджидала её, Бьянку!

Лайка узнала хозяйскую дворнягу Дамку, которую увидела раньше, в свой первый день в Астахино. И теперь стояла. Приноховалась. Дамка пахла свалявшейся шерстью, хлебом и незаживающими язвами — так пахнут все старые псы. Тень оскалилась, зарычала, предупреждая лайку: сделаешь шаг, и я тебя порву. Но Бьянка шагнула навстречу, не отводя глаз. Дворняга была повыше в холке, но когти на лапах видно, что стёрлись, затупились. Одного клыка не было, другой — даже кость не раскусить — пожелтел, потерял остроту и силу. Глаза одного у Дамки тоже не было — вытек в уличной драке, когда её, ещё молодую, едва не задрала соседская сука Найда. И ноги у старой дворняги были уже не те. Она мучилась от жестокого артрита, и старые увечья — порванные сухожилия, вывихи, порезы — постоянно напоминали о себе. Глядя на зло очерившуюся суку, Бьянка поняла, что совсем её не боится. Случись между ними кровавая драка, знает, как победить. Прежде всего, вырвет здоровый глаз! А после со старухой можно делать, что хочешь. Или не делать ничего. Потому что та всё равно сдохнет. Не от старости, так от беспомощности своей.

Вновь зарычала Дамка. И вновь шагнула ей навстречу бесстрашная Бьянка. И тут же сделала ещё шаг. И ещё. Она понимала: старая сука только пугает её, доказывает своё право на главенство в доме. Но сцепиться с молодой лайкой не решается. Бьянка видела очерившуюся морду Дамки совсем близко. Видела истёршийся клык, белую пену на пятнистых брылях, видела зарубцевавшуюся коросту на месте правого её глаза и сочащийся яростью левый. Напрягшимся телом, каждой клеточкой лайка ощущала: злобное рычание вот-вот сорвётся на визгливый фальцет, и единственный клык Дамки вонзится в её незащищенную шею. И всё в Бьянке зывало к ответу: показать свою силу, так же яростно очериться и кинуться на врага. Порвать его! Но что-то внутри не давало ей этого сделать.

Подобравшись к самому лазу, Бьянка вмиг проскользнула в дом, услышав за собой глухой щелчок собачьих челюстей.

С той ночи мрачная тень Дамки призраком преследовала Бьянку. И всякий раз белоснежная лайка не обращала на старуху никакого внимания. К тому же у неё был защитник и хозяин — Иван Сергеевич Форстер.

За считанные дни, что охотились они в лесу, Бьянка научилась умело, вязко преследовать боровую дичь. Работала по набродам и рябчика, и тетерева, и даже глухаря. Подбиралась к птице бесшумно, повиливая крючком хвоста. Прыжком поднимала её на крыло и уже не отпускала, зорко следила, куда та опустится, а тогда звонким лаем звала Ивана Сергеевича с его ружьишком двенадцатого калибра. Попадались им в те дни и мелкие зверушки, вроде куницы и хоря, и даже зверь покрупнее — барсук. И всякий раз демонстрировала белоснежная лайка чудеса охотничьей сноровки и дисциплины. Работала — как играла. Загоняла зверька в валежины и норы. И уже не отступала, покуда не подспеет на её заливистый лай хозяин. Только раз за всё время случился в её охотничьей карьере прокол. Да и то по неопытности, по причине азарта и юношеского задора, за которые и винить-то грех.

В тот день собрались они с Иваном Сергеевичем на охоту ближе к вечеру. Посвистеть рябчиков, может быть, поработать по бобрам, что мастера свои хатки в неглубоком затоне обок быстротечной Паденьги. Вышли

из дома засветло, да и в лесу обмылок солнца ещё только подбирался к горизонту, ещё теплится неярким северным светом. Недолго спустя, метров через четыреста, Бьянка услышала в заваленном лесным хламом еловнике первого рябчика и метнулась следом. Шла, как и положено: сторожко, высоко поднимая лапы, чтобы шорохом не спугнуть птицу, то и дело прислушиваясь и приглядываясь. Серый рябчик сидел в полуметре от земли, на еловой валежине, спиной к Бьянке, не чувствуя её, не замечая. Лайка замерла, приготовилась к прыжку. Но тут что-то серое, большое прыгнуло из-под поваленной берёзы и помчалось в чащу, оставляя за собой фонтаны пожелтевшей прошлогодней хвои и одуряющий запах горячей, близкой добычи. Бьянка метнулась следом. С лёгкостью пересакаивала поваленные деревья и сухой валежник, вздымала бисер брызг из неглубоких лужиц, прибавляла скорости на полянах и всё держала, настойчиво держала чей-то живой и тёплый след. Не меньше получаса прошло в азартной погоне, когда след вдруг оборвался. Словно его и не было никогда. Бьянка опешила. Ещё раз понюхала волглую землю. Следа не было! Она вернулась назад, по тропе, которой только что бежала. Там нашла его слабеющие обрывки. Постояла, пошла обратно. И вновь ничего!

Она очутилась посреди незнакомого леса одна, не понимая, куда идти. Никто ещё не объяснил ей, что зайцы, спасаясь от преследования, делают замысловатые петли и далёкие прыжки. Пройди широким радиусом вокруг потерянного следа и обязательно причуешь, поймёшь, куда умчалась добыча. Но Бьянка известных всем охотникам заячьих хитростей не знала, а потому беспомощно топталась возле оборвавшегося следа. А мудрый, мужиками стрелянный, лисой да волчарой голодным травленный заяц, совершив несколько длинных прыжков да накрутив кругов, теперь уходил всё дальше в глухие непролазные чащобы северной тайги. И, очень может быть, посмеивался над молодой неопытной лаечкой, что вознамерилась взять его в родном, с пушистого детства знакомом лесу.

Темнело. Птахи лесные после вечерней кормёжки угомонились, попрятались в ожидании ночи кто в дупло на корявой берёзе, кто в гнездо, недавно собранное и обустроенное, а иные предпочли почивать в глухой болотине, среди мягких сфагнумов, осоки и сухого мятлика, в безопасности и тепле. Разве что тяжёлая поступь сохатого потревожит слух или отрывистый крик терева.

Долго ещё стояла Бьянка на одном месте, прислушиваясь к молчанию тайги. Ждала спасительного голоса хозяина или выстрела его ружья, услышать который можно издалека. А ведь Иван Сергеевич и кричал, и палил в разные стороны, и свистел. Но Бьянка не отзывалась. Слишком далеко увёл её хитрый заяц. Замотал, запутал среди отвершков сухого лога, глубоких овражков, заваленных сухостоем, увёл в чащобу, в чёрную глухомань, где обитают разве что беглые каторжники да лешаки, да косолапый мишка. В тех местах не то что оружейного выстрела, но и ракеты, запущенной со стартового стола в секретном городе Мирный, и то не услышишь.

Долго плутал по лесным тропинкам, по кустам колючим, среди мёртвого цепкого сухостоя расстроенный до слёз Иван Сергеевич. Глотку изодрал, заывая и по-хорошему, и по-плохому заплутавшую свою собаку, расстрелял чуть не целую пачку "семёрки", изругал самого себя последними словами: не углядел, охламон, не сдержал, когда нужно, не научил. Да что толку корить теперь себя?! Собаку-то всё одно не вернёшь.

Тем временем уже и солнце потухло. Темно стало в лесу. И жутко. Захрюкали по просеке парочки вальдшнепов, а там и ночная птица поднялась на крыло. Нечего делать. Вернулся Иван Сергеевич на знакомую и покуда ещё различимую в темноте дорожку да побрёл в сторону деревни, вздыхая и утирая грязным кулаком слезящийся глаз, обещая себе чуть подняться, отправиться на поиски заплутавшей Бьянки.

Но Бьянка, теперь уже не белоснежная, а пегая от осыпавшегося на неё лесного мусора, грязи да всякого праха древесного, и не думала плутать. В крошечной темноте отыскала-таки собственный запах, по которому и пошла, то и дело принюхиваясь и оставляя мочой едкие запоминающиеся

отметины. Не знала она, а потому не опасалась, что по этим меткам мог отследить её и задрать голодный волчара-одиночка, что жил неподалёку, в яме под упавшей столетней сосной. На счастье Бьянки, тот накануне зарезал больного бобра, что помирал в раkitнике возле реки. И сожрал его до последней косточки. Только шкуру оставил. И теперь дремал в своей яме, довольный, сытый.

А Бьянка всё шла и шла, припохиваясь к собственным следам, которые с каждым часом становились слабее, глуше. Тот путь, что она, сломя голову, пробежала за косым, теперь показался лайке бесконечно долгим. Пока искала свой след и вдруг натыкалась на заячий, она поняла, какие вензеля и круги нарезал заяц, чтобы запутать её и спастись. Слабый уже запах дичины то и дело переплетался с её собственным, и это волновало её кровь, и она оборачивалась назад, к шевелящейся лесной мгле, решая, не повернуть ли назад, не пусться ли вновь в погоню?

Но тут знакомый запах заставил её забыть обо всём на свете. Так пахли резиновые бродни доктора Форстера. Теперь она двигалась по новому следу и через несколько минут вышла на лесную тропинку, с которой нынешним вечером уходила поднимать рябого. Тут уже во множестве обнаружился следы самого хозяина, и её собственный след, и отстрелянные гильзы двенадцатого калибра — ещё свежие, кисло пахнущие палённым порохом, и два фантика от вишнёвых карамелек, накануне купленных доктором в местном сельпо. Всё указывало Бьянке, что хозяин тут топтался, возвращался несколько раз в лес — искал её, Бьянку, не один час, до самой темноты. Здесь лайка постояла немного и, всё поняв, знакомой тропинкой побежала к дому, где уже пробуждался от дрёмы, собирался на поиски пропавшей собаки огорчённый Иван Сергеевич.

Он заметил её сразу, как вышел на крыльцо в пепельном молоке северного утра. Бьянка уже подходила к дому — грязная, еле живая. Ничего не сказал Иван Сергеевич. Опустился на колени, прижал к телогрейке благодарную, измученную морду. Гладил по голове, провёл рукой по грязной холке. “Молодец, Бьянка! Хорошая девочка! Где же ты, роднуля, была?” — шепнул на ухо.

Весь следующий день она отлёживалась возле печки, вдыхая тёплый аромат полыхающих дров и каленого кирпича. Но прежде Иван Сергеевич долго мыл, отскребал от засохшей земли и сора её шерсть, счёсывал насекомых, клещей, сосновую красную пыль да прошлогоднюю хвою. А потом кормил варёной говядиной с сахарной косточкой да кефиром магазинным, да печеным овсяным, сладким — в усладу.

Этими ласковыми хлопотами навсегда заканчивалась их счастливая жизнь с Иваном Сергеевичем.

Только Бьянка этого ещё не знала. А Иван Сергеевич даже не предполагал.

7

Собирался доктор Форстер в обратную путь-дорожку недолго. Побросал в рюкзачишко грязное шмотьё, разобрал да зачехлил в оливковый брезент ружьё, разложил оставшиеся патроны по картонным коробочкам, один к одному. Бродни, прорезиненный армейский плащ, ягдташ кожаный снёс в сени к дяде Николаю — схоронить до осенней поры. Туда почему-то отнёс и кожаный поводок с карабином. Повесил на ржавый гвоздок ошейник. Подошёл к Бьянке — та ещё отлёживалась возле печи. Погладил по голове мягкой, как тесто, рукой.

— Прости меня, Бьянка, — промолвил виновато, — прости, что придется тебя предавать. Не по своей воле, поверь. Не жить нам всем вместе в этой Москве проклятущей. Был бы я один, другое дело. А тут эта. Понимаешь? Жизни нам с тобою не даст. Я бы выгнал её. Честное слово, выгнал, да мужику одному никак нельзя. Понимаешь? Плохо это. Тоскливо... А ты не бойся. Дядя Николай мужик хороший. И Ольга добрая женщина. Они тебя не обидят. В сытости будешь, в тепле. И лес рядом. Ты его хорошо узнала.

А в Москве какой лес? Нету там леса. Уезжаю я — до сентября. Всего-то! Осенью вернусь. Пойдём с тобой на охоту. Не обижайся на меня, Бьянка. Всё будет у нас хорошо с тобою. Просто отлично будет.

Что могла ответить ему собака? Лежала, помахивая в ответ на его слова хвостом, и не отводила от него взгляда. Он не часто разговаривал с ней вот так, а тут расклеился, глаза его заблестели мокро. Лайка пыталась и не могла понять его. Однако не встревожилась. Потому и не увязалась за ним, когда вышел из горницы, закрыл за собой дверь. Голос его раздавался теперь возле рябининского дома. Она слышала его и оттого не чувствовала беды.

— Стыдно мне, Коля, — говорил тем временем Иван Сергеевич Рябинину, — стыдно, что оставляю собаку, предаю... Что ни говори, как ни оправдывайся, всё одно — предаю. Мой грех... Но ничего, брат, не поделаешь. Ты уж позаботься о ней, пожалуйста. Возьми вот три тысячи. Она кефир любит. И печенье овсяное. Знаю, что ты свою скотину этим не балуешь. Но ты уж ради меня, Коля, пожалуйста... Хоть иногда.

— Да ты, Сергееч, не переживай. За лаечкой твоей догляжу. Мобуть, не по-вашему, не по-городскому, однако с голодухи не околеет. Сей год, должно, Дамка сдохнет. Плохая стала. Вот и будет нам со старухой забава — Бьянка твоя беленькая.

— Ты хоть иногда с ней в лес хаживай. Ей без леса хана настанет. Всё ж порода охотничья. Генетика. Не ровён час — уйдёт. Ищи-свищи её тогда по вашим чащобам. Жалко...

Мужчины ещё постояли. Потом обнялись крепко, поцеловались по-православному, троекратно. Иван Сергеевич закинул за спину рюкзак и, не спеша, переваливаясь, как старый гусак, побрёл в сторону моста через Паденьгу. Обернулся всего раз, уже с того берега, с облезлого крутояра, где среди сосен притаилась железобетонная коробка автобусной остановки. Обернулся, подставляя ветру слезящиеся глаза и ничего почти не различая. Но горестно, удивлённо угадывая каким-то далёким чувством, что видит в последний раз и Астахино, и Паденьгу, и лес, и эту автобусную остановку. И белую лайку Бьянку. Что вернуться ему сюда не суждено.

А в эти самые минуты в неизъяснимой тревоге рвалась на улицу белая лайка. Но деревянную дверь дядя Николай предусмотрительно припёр снаружи по северному обычаю коротким дрыном, так что вырваться из заперти у Бьянки не было никакой возможности. Но разве знала об этом брошенная собака? Как могла поверить, что хозяин оставил её навсегда? Она бросалась на дверь, драла её когтями, рвала зубами. Смолянистым крошевом, острыми занозами древесина саднила ей пасть, но Бьянка только отплёвывалась кровью и продолжала кидаться и грызть преграду, что отделяла её от Ивана Сергеевича. Силы оставили её ближе к ночи. Бьянка рухнула возле двери на дощатые, забрызганные кровью, слюной, усеянные древесной трухой половицы и заскулила — жалобно, обречённо.

Никто не откликнулся на её горе. Только серенькая полёвка беззвучно проникла сквозь драную щель в двери и уселась напротив Бьянки, глядя на неё крохотными бусинами чёрных глаз и подрагивая паутинками усов. Стояла полная луна. И её молочный свет освещал веранду, где молча смотрели друг на друга молодая породистая собака и безродная полевая мышь.

Лишь к утру сморил Бьянку тяжёлый сон. Она закрыла глаза, но, казалось, тут же открыла, разбуженная грохотом шагов, знакомым, но вместе с тем чужим голосом, привычным, но не любимым ею запахом чёрной редьки, назёма, сырой земли. Скрипнул натужно еловый дрын, что припирал снаружи дверь на веранду. Тренькнул ржавым механизмом запор. Скрипя, otvorился светлый проём, и сразу пахнуло в него жжёным листом, зябким утренним ветром. Вошедший склонился над Бьянкой.

— Ух, ты, как ухайдакалась-то, сердешная! — молвил дядя Николай. — Накось, похлебай горяченького. Авось полегчает.

Он, не мешкая, вышел, и на веранде вновь стало сумрачно. Скрипнул еловый дрын, припирая накрепко темницу.

Вкусно пахло тёплым варевом. Но есть Бьянке совсем не хотелось. Теперь она страдала оттого, что не могла справить нужду в человеческом жилище.

Вся порода её запрещала снизойти до такой низости, до паскудства такого — гадить там, где живёт человек. Однако человек сам не оставил ей иного выбора, заточив в эту темницу. Измождённо бродила Бьянка из угла в угол летней веранды. Вновь скулила. словно жаловалась, что помимо воли своей, вопреки рассудку и крови вынуждена искать здесь отхожее место. Покуда не присела поближе к тому углу, из которого несло весенней сыростью двора. И облегчилась. Вскоре собака уснула, а когда проснулась, увидела рядом с миской знакомую полёвку. Не обращая внимания на грозную животину, та за обе щеки уплетала кусочек варёной морковки, что-то ещё из расплёсканной по половицам еды. Бьянка подняла голову. Полёвка вздрогнула, испуганно посмотрела на собаку.

“Не бойся, — взглядом сказала ей Бьянка, — я не трону тебя. Можешь жить тут, сколько захочешь. Вдвоём веселей”.

Ничего не ответила ей полёвка, но, кажется, всё поняла. И вновь принялась уплетать морковку.

Так, взаперти, без аппетита, в унынии, в обществе разве что полёвки провела Бьянка ещё один день.

Иван Сергеевич тем временем благополучно вернулся в столицу. Москва пахла тополиным соком. Стеснительные таджики подметали, ссыпали в тачки зимний мусор. В воздухе стояло голубоватое марево бензинового и дизельного перегара. Откормленные менты собирали с автолюбителей обычную свою подать. В золочёных куполах церковей ярко полыхало солнце. Третьяки крыльями в небе стайка беспечных почтарей.

Словом, Москву захватила весна.

Сиротка встретила Ивана Сергеевича в розовом кимоно со змеями, купленном на Черкизоне всего за триста пятьдесят целковых. Встретила сонная, со следами засыпок в уголках глаз, с припухшими губами и спутанными тонкими светлыми волосами. Кимоно едва прикрывало её крепкие острые дойки с тёмными бусинами сосцов, упругий, плоский живот и тёмный пушок внизу, от одного вида которого Иван Сергеевич одолела сладкая и липкая, как сахарная вата, истома.

Сиротка будто и не заметила, что сожитель её вернулся домой без собаки. Не спросила о ней, как, мол, она и что с нею стало? Но внутри маленького и гаденького сердечка Сиротка торжествовала победу. Всё ж таки пообломала она рога старому пердуну, добилась, чего хотела. И впредь будет именно так. И никак иначе. Собачка — это ведь только начало. Следующий рубеж — свадьба. Потом прописка. И, наконец, квартира. Худая, конечно, заморочная. Да ведь лиха беда начало. И ей всего-то двадцать два года. Целая жизнь впереди. Сколько ещё у неё таких Иванов-дураков будет. И не сосчитать.

Примерно таким образом мечтала про себя оголённая Сиротка, помогая доктору Форстеру снять с плеча рюкзак, волглую телогрейку вешая на крючок в прихожей да расшнуровывая офицерские берцы. Чтобы старый козёл и вовсе разломал от её заботы, налила ему из чайника яшмового чая, заботливо подкладывая жёлтое колёсико лимона. И, главное, глядя участливо и с заботой. Чтоб именно с ней он чувствовал себя на вершине человеческого счастья. А уж если к этому всему добавить чуток эротических фантазий, тут ему и вовсе кердык настанет. Был мужик, и вот его уже нет. Манная каша останется. Размазня.

Впрочем, как ни старалась, как ни рассчитывала Сиротка, коварным её замыслам так и не суждено было сбыться.

Через пару месяцев усталый заблудший сперматозоид с полным набором ДНК Ивана Сергеевича всё же настиг блудливую яйцеклетку Сиротки и просочился сквозь её мембрану. Примерно в то же время тонкие корешки метастаз проросли в правое полушарие доктора Форстера и потянулись в лобную долю. Так что известия о неоперабельной опухоли головного мозга и скором отцовстве Иван Сергеевич получил практически одновременно.

На излёте августа, когда охотники чистили ружья и закупали по лавкам новые патроны да перетряхивали залежавшееся с весны шмотьё, а по полям, по солнечным, пахнущим первым прелым листом полянам полетела первая

паутина, вот тогда-то и отошла к Богу грешная душа Ивана Сергеевича Форстера. Отошла в глухом забытии от морфийных препаратов, которыми его накачивали с утра и до вечера, чтобы он уже и не чувствовал этой жизни, и не видел её, и не знал.

Поднимаясь над собственным телом выше и выше, душа ветеринарного врача Форстера ещё сутки металась над городской больницей наподобие испуганной птицы среди таких же перепуганных душ. Но потом вспорхнула немело. И исчезла. Теперь уже навсегда.

Беременная сожительница Ивана Сергеевича, укутанная в чёрные одежды, не проронила на кремации ни единой слезы. Даже когда целовала покойника в фарфоровый лоб, даже когда обитая красным и чёрным крепом домовина уплывала под пол к огнедышащей топке, даже тогда бледное лицо Сиротки оставалось безучастным, отрешённым. В горестные эти минуты она думала лишь о стоящей напротив крупной рыхлой женщине в шерстяном жакете с брошкой на груди. Женщину звали Валентина Сергеевна. Она приехала в Москву утренним поездом из Салехарда, где занимала пост депутата местного законодательного собрания. Доктор Форстер никогда не рассказывал Сиротке, что у него есть родная сестра-депутат. Уже на следующий день после похорон Валентина Сергеевна явилась к Сиротке в сопровождении участкового, нотариуса и двух мужиков атлетического сложения. Вкрадчивым, но не терпящим возражений голосом она объяснила беременной девушке её ложные права и сомнительные обязанности, а также заявила о собственных законных правах на квартиру покойного брата. В качестве компенсации сестра передала Сиротке тысячу долларов США и получила расписку в их получении. После этого атлетические юноши помогли Сиротке собрать её вещи и даже донесли их до студенческого общежития. А участковый, передав ключи законной хозяйке, опечатал квартирную дверь вплоть до дальнейших распоряжений.

Так закончился очередной незамысловатый московский мезальянс, на который так падки глупые провинциалки.

8

Бьянка так и не узнала, что Иван Сергеевич умер. Она ещё верила, что он вот-вот вернётся за ней. И потому каждое утро в восемь и каждый вечер в шесть (ровно во столько тормозил возле остановки дребезжащий доходяга-автобус) мчалась опрометью через всё Астахино, белым снежком металась по мосту через Паденьгу, ютилась у краешка бетонной коробки, возле мусора — россыпи лузганных семечек, нескольких бутылок из-под “Клинского”, искуренных до самого фильтра сигаретных и папиросных “бычков”. Но каждый новый автобус привозил в Астахино каких-то иных, порою даже очень хорошо знакомых Бьянке людей: продавщицу сельпо Любашу, что любила угостить её магазинным сладким гостинцем; учителя русского языка Льва Николаевича; егеря Витю Кузина; фельдшера Матвея Едомского с женой его Ангелиной. Много людей встретила за эти долгие месяцы на автобусной остановке Бьянка. Только вот один-единственный, ради которого она и прибегала сюда два раза в день, всё не ехал никак.

Уже и сентябрь золотой померк. И октябрь натянул мокрым ветром, пронёсся пёстрой шелухой листопадов. Глядишь, ноябрь через неделю-другую придёт с первыми морозцами, с белою порошей на грустных полях.

Первую неделю, покуда Бьянка ещё рвалась на волю, дядя Николай держал её в том самом летнем домике, потом ещё две недели — во дворе, на цепи, а когда собака наконец-то привыкла и к голосу его, и к рукам, и от супруги шарахаться перестала, словом, когда немного пообжилилась, начал дядя Николай отпускать лайку из-под домашнего ареста. А осенью и вовсе отправил на вольную жизнь. Днями шаталась теперь Бьянка по деревне, как могла, промышляла дичинку по окрестным лесам, а то кормилась у добрых людей. Однако ночевать возвращалась к дяде Николаю. Здесь её ожидала большая миска горячего варева да старая телогрейка в сенах, где она могла укрыться от жары и непогоды, где ждала её с нетерпением пепельная

мышка-полёвка, та самая, с которой она познакомилась во времена своего тоскливого плена.

Крошечной мыши под крыльцом, в соседстве с большим зверем, который защищал её от бродячих котов, делился с нею горячим харчем да согревал своим могучим теплом, жить было и вовсе вольготно. Взамен она пела лайке на ухо колыбельные песни или бесконечно долго смотрела в грустные собачьи глаза. А это всё, что нужно было теперь Бьянке.

Но нет, не одна лишь старая полёвка сострадала снежной лайке. Большая и тёплая корова Маркиза со вздутыми боками и тяжёлым выменем, пахнущим маслом и тёплым молоком, позволяла ей на выпасе подходить совсем близко. И протяжно мычала в ответ, когда Бьянка жаловалась, что хозяин её все не едет и, должно быть, случилось что-то нехорошее, раз он не смог сдержать перед ней своё слово. Слушали Бьянку задумчиво две тучные курицы брамской породы и пекинская утка Дуся, единственные “нерусские” птицы в курятнике у Ольги, и оттого, должно быть, самые воспитанные, к чужим рассказам внимательные. Хотя, возможно, они просто изображали из себя сердобольных. Кто поймёт этих иностранцев? Большая семья пугливых кроликов тоже слушала лайку с интересом. Они тревожно шевелили усами, вздрагивали и вдруг всем семейством панически забивались в дальний угол. Участь кроликов, увы, была незавидна. Мало кто из них умирал естественной смертью. Большинству дядя Николай собственноручно отрубал голову, а хозяйка варила их мясо в русской печи. К счастью, кролики об этом ничего не знали, а потому и не жаловались на свою жизнь этой белой, совсем не злобной собаке.

Местные жители, из тех, что каждый день видели Бьянку на автобусной остановке, знали по сарафанному радио о смерти Ивана Сергеевича, и тоже старались облегчить лайке её сиротство. Та самая Любаша из местного сельпо, владельцами которого, по странному стечению обстоятельств, являлись чеченцы Дагоевы, несмотря на запреты, пускала собаку в торговый зал и незаметно, обычно в отсутствие покупателей, подкармливала то залежалым мятным пряничком, то старой приской, а иной раз кусочком заветренного сыра или даже сосиской. Их она покупала на свою более чем скромную зарплату, потому как у чеченцев за ходовым товаром был глаз да глаз. Любаша подозревала, что дядя Николай осиротевшую собаку любит по-крестьянски скупко, да и сам по себе человек он прижимистый, пряниками Бьянку не попотчует, а уж сосиской — тем более. Чувствительное сердце сельской продавщицы оценило в лайке снежную непорочную красоту, стать, редкость экстерьера. Любаша понимала: не по своей воле оказалась собака в местах и условиях, вовсе для неё не подходящих, что была рождена и предназначалась она для лучшей жизни, исполненной наград на международных собачьих выставках, заботливого хозяина с барским замахом, достойного впоследствии кобелька и многочисленного, столь же породистого потомства. Однако ж простодушие и мягкотелость покойного ветеринара или, может, то, что называется судьбой, забросили её сюда, в таёжную глухомань, на прозябание и одичание. Возможно, точно так же Любаша думала и про себя. Что и она смогла бы жить иначе. Не здесь. И не так. Что и она, быть может, достойна совсем иной доли. Вот потому и радовалась искренне каждой встрече с белоснежной лайкой, угощала вкусным гостинцем. В ответ Бьянка, как часы, прибегала к закрытию сельского магазина, дожидалась, когда Любаша запрет его на тяжёлый замок, и шла рядом до самого дома, охраняя от праздно шатающихся беспородных псов да от подвыпивших, распоясавшихся мужиков.

За штaketником Любашиного дома ждал хозяйку её собственный кобель Чурка, поведением, манерами, визгливым норовым соответствующий идеальной такой кличке. Ждал муж — ветеран кавказской кампании. Слегка контуженный, а оттого к действию алкоголя весьма восприимчивый. Да вдобавок до дикости абиссинской ревнивый. Так что одна только мысль, что супруга служит у “чехов”, мысль, усугублённая ежедневным “мерзавчиком” палёной осетинской водки, превращала его в беспощадное чудовище, к тому же вооружённое десантным тесаком и охотничьим ружьём шестнадцатого калибра. Ждала Любашу и сварливая злая свекровь Зина, приглашённая из дальней

отсюда деревни, чтобы сидеть с двухгодовалым сыночком Павлушей. Полоротая грузная баба, проработавшая первую половину жизни охранницей на женской зоне под Каргополом, а вторую, аж до самой пенсии, в сельском совете, Зина эта, говорят, по молодости своей слыла бабёнкой, до мужиков охочей, испорченной, а потому богатый жизненный опыт теперь распространяла на молодую невестку, постоянно подозревая и упрекая ту во всевозможных грехах. Любаша спорила поначалу. Доказывала зачем-то. Да затем плюнула на вздорную эту “вертухайку” с загаженной философией и теперь попросту на все её упреки старалась внимания не обращать. Если бы не сынок, давно бы ушла от них Любаша. Бежала, не разбирая дороги, не ведая, куда. Разве для того она родилась? Для того живёт на этом свете?

Проводив до дому Любашу, лайка мчалась на другой край деревни, где в бывшей летней церкви расположилась теперь Астахинская начальная школа — совсем уже малочисленная, неуккомплектованная. Это в советские времена школа наполнилась с раннего утра до позднего вечера ребячьим гомоном. И была она не только комплектной, а самой что ни на есть общеобразовательной, к тому же средней. Теперь те времена — только на чёрно-белых фотографиях в школьном музее, рядом с пионерским горном да кумачовым штандартом с вышитым гладью профилем Ильича. Да ещё в памяти Льва Николаевича Толстого, который тут и директор, и учитель словесности, и завхоз, и последний из могижан. Этому могикинину скоро стукнет семьдесят, но, коли и он, по примеру сельских дедов, сляжет на печку или, скажем, на лавочке полюбит лясы точить, то школу придётся закрывать. Потому как на нём она вся и держится. Математичка Прасковья Фёдоровна уж второй год просится отпустить её на заслуженный отдых. Всё крихтит. Всё жалуется на старческое житьё-бытьё. А воспитательница Валентина не ровён час и вовсе коньки отбросит. Тот год уже звенел по душу её колокольчик: все летние каникулы пролежала в райцентре с инфарктом. А больше и нет никого. Вот и весь педагогический коллектив. За неимением собственной семьи, которую, словно из снайперской винтовки, выбило новой капиталистической формацией (сын погиб в 90-е, в бою под Ачхой-Мартаном, а супруге всем селом не смогли собрать денег на срочную операцию), Лев Николаевич жил бобылём, занимал себя всецело работой и в школе зажививался до глубокой ночи.

Белая лайка давно научилась открывать лапой школьную дверь на хлипкой пружине. По тёмному коридору с печкой, в которой кипела на горящих поленьях пахучая сосновая смола, она теперь бежала в дальнюю комнату, где за рассыпшимся от времени столом, под настольной лампой с громоздким абажуром зелёного стекла склонился над детскими тетрадками старик с лысой башкой и взлохмаченной седой бородою, точь-в-точь, как у его великого тезки. В кабинете Льва Николаевича тоже жарко дышала старинная изразцовая печка. С пожелтевших фотографий на стенах смотрели в пустоту чьи-то незнакомые лица. Букет сухих роз с памятного далёкого уже выпускного пылился в алюминиевом кубке за первенство района по городкам. Молчал чёрный телефон. Светящиеся стрелки советских часов “Чайка” считывали совсем другое время. В кабинете пахло злым табаком. Бурлил электрический чайник. Радиоприёмник мурлыкал негромкую музыку.

Бьянке нравился этот старый человек, подслеповато щуривший глаза из-под очков в черепаховой оправе, нравился его кабинет, в котором она могла полежать возле изразцовой печки да послушать, как бурлит чайник и разговаривает сам с собою этот странный и добрый старик. “Что ж ты, душа моя, Маха, так размахалась-то? — говорил Лев Николаевич, открывая тетрадку в линейку, где нынешние перволашки выводишь палочки, крючки да окружности. — Это ж тебе не редьку дёргать! Эх ты, Николашка-промокашка! — сокрушался учитель, открывая другую тетрадь. — Совсем ты, видать, подустал. Или мать на повесть послала?” Так, шелестя страничками первых детских каллиграфических упражнений да сопровождая каждое особым словом, время от времени прихлёбывая из кружки с кремлёвской башней на боку кренкий, до черноты заваренный чай, проводил Лев Николаевич почти каждый вечер. Домой возвращался лишь по необходимости — покормить

ленивого kota Жмурика, полить цветы да помолиться перед светлым ликом Спасителя.

Вот в такой точно стылый октябрьский вечер и началась другая жизнь Бьянки. Новая жизнь.

9

Колочий ветер ледяной крошкой сёк глаза. Бьянка шурилась, но терпеливо брела вслед за Любашей по скользкой глине, обходила мутные лужи обочины, на которой ещё топорщилась жухлая трава, валялись мятые пластиковые бутылки, гнутая ржавая проволока и окурки — обычный придорожный хлам. Любаша одной рукой куталась в зелёный солдатский дождевик, доставшийся ей от воинских трофеев мужа, а другой прижимала к животу полиэтиленовый пакет, в котором тащила домой нехитрый деревенский провиант: кило серых макарон в развес, банку толстолобика в томатном соусе, две буханки хлеба, что выпекли прошлой ночью в местной пекарне на том берегу реки, да кулёк карамелек к чаю. Где-то в верховьях Паденьги сверкнула разлапистым обжигом серебристая молния. И через несколько мгновений пророкотал громовой раскат. Ветер окреп, зачастую мёрзлой крошкой сильнее, гуще, мешаясь с дождём, с тленом умирающей осени, шумно наполняя собою глубокие лужи, колдобины дорожной колеи и саму Паденьгу, что клокотала рядом, за высоким частоколом серых дудок борщевика да мятых лохмотьев репья и полыни.

Деревня ещё не спала, окна покуда ещё светились разноцветьем телевизионных экранов, с которых счастливые и молодые люди предлагали местному населению средство от геморроя и надсаженных суставов, сладкую газировку “Пепси”, выигрыш путёвки на неведомые острова или даже целое состояние в один миллион целковых. Но даже деревенский народ научился уже, слава Богу, не разевать рот на столичную рекламу, а вот сериалов, одного и единственного своего счастья, пропустить никак не мог. Оттого и торчал вечерами возле цветных, спутниковыми антеннами оснащённых телевизоров, словно заворожённый. В основном, конечно, женская часть, потому как мужская, приняв на грудь своё законное, дрыхла, окружённая фимиамом перегорелой водки, сала и чеснока, храпела тут же, на диване или на скрипучей панцирной сетке за дощатой перегородкой. Но это у тех, у кого мужики эти проклятущие были. Для вдовых же да брошенных, да разведённых, а таких в Астахино имелось немало, киношная жизнь и вовсе становилась единственной усладой дня, главной радостью, счастьем мимолётным.

В доме Любаши тоже переливалась жидкой радугой телевизионная мечта. Свекровь Зина, прижав хвост, дыхание затая, следила за доном Антонио, как тот узнал на краю жизни, что дочка его Палома не родная. Для Зины эта тема была горячее кипятка. Уже два года, с того момента, как на свет появился внук Павлуша, подозревала свекровь, что прижила его невестка Любаша совсем от другого мужика. Искала тому неоспоримые доказательства: глядит ребятёнок отчего-то букой, говорит с запинкой, волосы не русые, как у отца, а с вороньим, нездешним отливом. И глазки чёрные, чужие, не в родню! Невестка тоже хороша! Работает у чеченцев, а ведь супруг её на Кавказе сражался с такими, не жалея собственной крови. Мужняя баба, а домой возвращается в ночь-полночь. Не иначе, стало быть, блюдет она с этими чурками. Даже кобелька в их честь Чуркой кличет. Эка он заливется. Знать, свою почуял.

Чурка, между тем, услышав голос Любаши, лаять перестал и, заискивающе поскуливая, перебирал лапами в надежде получить от хозяйки обычное вечернее угощение. Но внезапно скулить перестал. Подбежал к шербатому, местами залатанному свежей дранкой штакетнику и усталился на Бьянку, с жадностью вдыхая влажный аромат пустотной суки. Едва Любаша повернула деревянный закрутыш на калитке, пёс, не разбирая дороги, не оглядываясь на зов хозяйки, бросился вслед за исчезающей во тьме лайкой.

Догонял её, перепрыгивая через глубокие мутные лужи, оскальзываясь на глиняных отгосах и вновь поднимаясь. Обогнал и остановился, как vro-

панный. Бьянка продолжала идти — теперь по направлению к школе, где в жарко натопленном кабинете привычно пахло табаком и тапочками Льва Николаевича. Шла неспешно. Ни движением, ни даже звуком одним не выдавая внутреннего смятения. Словно и не преследовал её этот глупый деревенский кобель.

Но тот не отступал, шёл близко, следом. Несмотря на порывистый ветер, на ледяную крошку, больно секущую нос, лайка остро чувствовала запах Чурки, запах сырого, непереваренного хлеба и хозяйских помоев, которыми воняло из его приоткрытой пасти. Запах грязной, давно не чёсанной шерсти, слезащихся гноем глаз. То и дело кобель останавливался, поднимал голову и принохивался. И вновь неотступно следовал за Бьянкой.

У сельского магазина, подле которого раскачивался на осмоленном столбе ржавый фонарь с подслеповатой сорокаваттной лампочкой, Чурка неожиданно прибавил ходу. Но лайка услышала его приближающийся шаг. Резко обернулась. Подняла брыли и злобно ощерилась, обнажая острые белосахарные клыки. Чурка оторопел, остановился. И какое-то время наблюдал за удаляющейся сукой, не чувствуя, как дождь всё сильнее и жёстче сечёт его по спине. Но когда лайка скрылась из виду, вновь двинулся следом, жадно причуивая её запах. Единственный, неповторимый запах, за которым кобель мог идти хоть всю ночь, хоть в самое сердце тайги без отдыха и усталости.

Этот запах привёл его к школе и затерялся за входной дверью. Её на растянутой пружине Чурка с лёгкостью подцепил когтистой лапой и последовал за запахом дальше, по дощатому коридору. В конце его из приоткрытой двери был виден свет. Берёзовым дётем дышало внутри печное тепло. Слышался человеческий голос. И тихая музыка, от которой хотелось умереть или хотя бы потерять сознание. Чурка против воли вдруг собрался завывать. Но сразу забыл об этом, приблизился, заглянул внутрь. Возле печки на подстилке лежала белоснежная лайка, а за столом над бумагами склонился бородастый человек в очках. В то же мгновение лайка почувствовала запах дворового пса. Резко подняла голову и зарычала гулко. “Кто там? — спросил Лев Николаевич, отложил перо и поднялся с визгливого стула. — Кого принесло?” Он услышал, как в коридоре кто-то быстро бежит к выходу, а потому взял из угла старенькую “ижку”. Да только и ухватил, что стон ржавой пружины и гулкий хлопок закрывающейся двери. Не выпуская ружья из рук, старик всё же дошаркал до выхода, приоткрыл дверь и выглянул на улицу: по ней, то исчезая, то появляясь в фонарных отсветах, удалялась в ночь тень крупного кобеля. Толстой догадался: у Бьянки течка, и теперь от кобелей ей проходу не будет. Спасать её от них? Да как? Против природы не пойдёшь. К тому же собака не его, а так, приبلудилась, значит, и отвечать за неё он не должен. Лев Николаевич затворил дверь да задвинул тяжёлый кованый, ещё церковный засов, чтоб ни кобель, ни человек, ни дух нечистый не проник этой ночью в здание школы. Он и сам решил сегодня тут заночевать. Уж больно разыгралась непогода.

Но дух нечистый, похоже, проник в тело самой лайки. С того вечера она испытывала неведомую прежде истому, иногда её морозило, хотелось писать, а глаза вдруг пугающе слепли. Ей всё время хотелось пить, на баланду, что по-прежнему выставлял для неё Рябинин, даже глядеть не хотелось. Она начала оставлять за собой капельки крови и, сворачиваясь калачом, долго вылизывалась, ощущая всем своим собачьим чутьём странный, новый для неё вкус и запах.

Местные ухажёры, и в первых рядах оголтелые, цепи не знающие псы теперь сопровождали её повсюду. Шли за нею стаей — старые и молодые, разных окрасов и норова, размера и породы, по большей части, конечно, дворового, местного завода, но встречались и заезжие, как и сама Бьянка, аристократы, вроде кудрявого чернявого эрдельтерьера Цыгана и коротконогого нечёсаного шпица Муси. Этот злобного и неуживчивого характера недомерок, по причине пенсионного возраста и артрита, замыкал процессию, именуемую в народе “собачьей свадьбой”. Из последних сил перебирая короткими лапами, он тащился на запах пустотной суки, по наивности или по неискоренимой кобелиной натуре надеясь, что не будет растерзан молодыми

сородичами и его допустит к себе эта юная статная собака. Псы провожали Бьянку до подворья Рябиновых и ждали её, схоронившись за дровяником, в зарослях бурьяна, не смея приблизиться к штакетнику, из-за которого Николай грозился продырявить их собачьи шкуры из дробовика, запускал в свору обломком кирпича или поленом. Псы молча разбегались по своим укрытиям и снова ждали. Иногда какой-нибудь из них, уже, конечно, в ночи, отлучался до собственной будки, чтобы набить брюхо холодной баландой, а затем сломя голову мчался обратно.

Стоило Бьянке выйти за ограду, как вся компания дружно поднималась из кустов и в предвкушении возможного соития неотступно следовала за ней. Иногда кто-нибудь из псов помоложе отваживался выскочить вперёд и прогарцевать перед Бьянкой на манер арабского скакуна. Лайка в ответ щерилась сахарными клыками, злобно рычала, а пару раз едва не тянула назойливого ухажёра.

Однако неумолимая природа, хозяйский недосмотр, рутинное деревенское равнодушие к проявлениям собачьего естества да настойчивость кобелиного сообщества, в конце концов, завершили дело. Оно ведь как: будь ты хоть корги английской королевы, хоть лабрадоршей президента России, окажись в интересной поре на вольных российских палестинах да без хозяйского надзора, враз пристроятся к тебе кобели. Тявкнуть не успеешь, как обрухатя, — без всяких, высокой породе твоей соответствующих церемоний. А, как говорится, по-нашему, по-простому.

Так и с породистой Бьянкой произошло. Хотя она и сама не поняла, как это случилось. Только вдруг почувствовала позади себя прогорклое дыхание Чурки. И его лапы — все в осенней грязи и свином налёте, ухватисто, крепко сжимающими сзади её тело. И что-то горячее, тупое, что входило в неё все глубже и глубже.

Разве можно было представить, что это случится с лайкой именно так? Ведь в истоках прежней её счастливой собачьей судьбы была десятилетиями выстраиваемая родословная, хозяин, отдававший ей столько заботы и любви, талант её — растущая неодолимая страсть к охоте. А дальше, как и бывало у её породистых соплеменниц, подобранный для неё тщательно, проверенный многократно партнёр — гордый красавец кобель. Такой, у которого в каждой частице семени природой вплетены отвага, верность, экстерьер. Чьё имя вписано в толстые книги родословных. Чья кровь в союзе с задатками белоснежной суки дали бы славную жизнь новым поколениям лаек. Увы, выдающемуся потомству Бьянки, которым могли бы гордиться знатные заводчики, так и не суждено было появиться на свет.

В её теперешней убогой жизни бесконечный осенний дождь, жухлая трава, покосившийся сарай на краю забытой северной деревни, понурые морды беспородных псов. Как же неотвратимо! Как безысходно! Словно захлопнулась дверь клетки. И нет никакого пути назад.

10

Минул Новый год, а за ним Рождество Христово. Астахино по самые ставни завалило сахарным снегом, чистым, непорочным. Днём от него так нещадно слепило, что некоторые селяне напяливали на носы пластиковые очки с чёрными стеклами. Лунной ночью снег светился таинственно, будто в сказочном сне. Лютые морозы, что обрушились на наши края в конце декабря, чугунно сковали Паденьгу, проморозили чуть не до самого дна, загоня сонную рыбу в глубокие затоны и ямы. Прозрачный воздух сделался таким колочим, что даже мужики рукавицами заслоняли лицо от его обид. А бабы и вовсе кутались в шерстяные платки по самые глаза, сразу и не поймёшь, кто такая. Семенили люди, хрустко скрипя валенками по узким тропинкам, протоптанным меж сугробов, от селюк к дому, от школы на почту и оттуда опять к дому, чтобы, добравшись до натопленной избы, рухнуть на приступочку возле печи, рассунуть шубы, кофты да платки, прижаться спиной к тёплому побелённому боку да так и сидеть, раскрасневшись, взопрев, каждой клеточкой тела ощущая блаженство родного гнезда.

Точно так же в один из январских дней явилась домой и Ольга Рябинина, весёлая задорная бабёнка, многолетняя жена, соратник и закадычный друг дяди Николая, его, можно сказать, вторая половина. Заявилась половина эта прямёхонько с почты, где корявыми печатными буквами расписалась в получении заказной бандероли на имя супруга. А поскольку тот ещё потемну умотал за соляжкой на трассу, почтальонша Нюра Собакина без лишних формальностей вручила пакет его законной жене.

Ольга Андреевна Рябинина, пятидесяти трёх лет, уроженка Шенкурского района Архангельской области, в девичестве Телятина, имела характер лёгкий, норов покладистый и душу светлую, по какой-то причине и прожила она с мужем своим тридцать лет с хвостиком хоть и без особого материального достатка, зато в полной, как говорится, гармонии. Иная бы от Рябинина с его закидонами да прежними завихрениями, возникшими на почве любви к спиртному, плюнула да, собрав свой девичий ещё сундучок, уткнула от него куда подальше. Иная разбила бы ему башку кочергой. Или удушила в блаженном подшитии подушкой. Иная. Но только не Ольга. По молодости она ещё пофыркивала на благоверного, бывало, и засандалит в него поленом или подоиником; несколько раз случались у них в то время и битвы, можно даже сказать, вооружённые противостояния, когда Ольга носилась по двору с взведённой берданкой, а Коля драпал от неё с вилами наперевес. Слава Богу, оба живы остались, если не считать рябининской задницы, куда, под горячую руку Ольги, угодили несколько дробинок, к счастью, самого мелкого, девятого номера. Сама Ольга раны его “боевые” ценила особо: поглаживала мужнин зад всякий раз, коли разговор между ними вдруг накалится не в меру, напоминая ему тем самым об их, слава Богу, давно прошедшей оголтелой юности. С годами они притесались друг к дружке, словно камушки песчаника, характерами выровнялись. Многие, из-за чего в прежние времена возникали у них едва ли не смертоубийства, теперь и вовсе забылось, а может, само собою ушло. И стоит одному из них, как сегодня, отлучиться из дому хотя бы на полдня или, того хуже, дней на несколько, у другого и на сердце как-то муторно, и на душе свербит. Видать, приросли они друг к дружке за тридцать-то с хвостиком лет, не растащишь. Всю эту жизнь трудились они и кормились собственным хозяйством: держали корову, с десяток кур, двадцать кроликов да отрез земли в полгектара, на котором водилась у них разная огородная снедь, прежде всего, та, без которой крестьянская жизнь не в радость: картошка, редька, капуста да свекла.

С тех пор как советская власть медным тазом накрылась, Рябинин из колхоза по собственному заявлению решительно вышел. Ольга проработала ещё несколько лет, а после, когда и самого их колхоза с гордым именем “Заветы Ильича” не стало, устроилась учёщицей на лесопилку, к местному барыге Харитошке. Тут и батрачила по сей день, зарабатывая себе и Николаю на соляжку, патроны, спички хоть какие-то гроши. Муж её, в силу твёрдых политических и моральных устоев, ни на кого, кроме себя самого, батрачить не желал: ни на Харитошку, ни на нынешнюю власть, которую считал антинародной и даже богопротивной. В подтверждение и с призывом не терпеть государственного бандитизма, цитировал односельчанам разгромные передовицы из “Советской России”, “Правды” и даже прохановского “Завтра”. Однако недалёкие люди, сельчане, хоть и согласно кивали Рябинину и хором материли нынешнюю власть, но на баррикады не шли. И за топоры хвататься не торопились. Сколько раз (чаще, конечно, по пьяной лавочке) убеждал он жену свою Ольгу подпалить Харитошкину лесопилку и тем начать в Астахино восстание против засилья местной буржуазии. Та улыбалась ему в ответ широкой и светлой своей улыбкой, похлопывала по раненому мужнину задку и приговаривала: “Уймись уж, Робеспьер ты мой хренов!” А всё же ей нравилось, что муж смотрит на теперешнюю жизнь и рассуждает о ней гораздо твёрже и смекалистее иных односельчан.

Пока сидела с блаженной отстранённой улыбкой на ясном и чистом лице, прижавшись спиной к тёплой печи, да вспоминала о громких, всегда поперечных власти речах муженька, глядь, и время промчалось северным ветром. На часах-то уж и к полудню шло дело.

— Гли-ко, девка, — запричитала Ольга, вскочив со скамейки, словно её колодезной водой охолонуло, — тее ж еще по дому управлять!

Схоронив пакет на этажерке возле телефона, где они держали свою нехитрую корреспонденцию, счета да извещения от местных властей; угрозив на оловянный крючок тяжёлую шубу искусственного мутона, что подарил ей Николай без малого десять годов тому назад к юбилею их совместной жизни, принялась Ольга Андреевна за ежедневную бабью работу — тяжёлую, неблагодарную, вечную. Хорошо ещё, со вчерашнего, воскресного дня наварила она щей кастрюлю, что нынче, должно, уже замёрзли в кладовке, да там же — полная латка солёных волнух да хрусткая злая редька из подполья. Если надрать её на крупнóй тёрке да золотым душистым маслом полить или домашней сметанкой приправить, первостатейное лакомство выйдет. Кроме того, у Ольги ещё и полкроля томилось в печи, почитай, всю прошлую ночь, вместе с картошкой, морковкой и луком.

Набросив на плечи мамкин ещё пуховый платок, выскочила Ольга во хлев, чтобы вилами накидать Маркизе свежего сена, да не одеваясь, бегом по утоптанному до ледянки снегу, к бане, где упрятана гордость её, стиральная машинка “Аристон”, что привезла ей в подарок дочь Маруся из районного центра. Записала в барабан из нержавеющей мужнины портки да фартук свой затёртый, да с пяток полотенец, да невесть ещё какого расхожего барахлишка. Сыпанула стирального порошка. Теперь только кнопку нажать. Дальше чудо-машинка всё сама сделает: и постирает, и прополощет, и отожмёт, ещё и сообщит тоненьким звончком об окончании своей работы. Разве что в зад не поцелует! Это в прежние времена, какие Ольга ещё помнила свежо и ярко, бабы бучили бельё возле реки. Калили в кострах круглые речные камни. Шоркали портки да рубахи вместе со щёлком на цинковых досках. Да выбивали дружно остатки щёлоча деревянными колотушками-кичигами.

Ох, тяжёлая была работа! Полдня на ней мудохаться, не меньше. Но и бельё, не чета нынешней, машине порученной стирке, куда как свежее получалось и чище. Пахло студёной проточной водой. Холодным речным камнем. Подводными травами. Пахло праздником и счастьем...

Возле избы Ольгу уже ждала отяжелевшая, неуклюжая в своей беременности Бьянка. Шкура её почти сливалась со снегом, отличаясь лишь едва приметным оттенком топлёного молока. Но чёрные и влажные, как речные камешки, глаза лайки, её блестящий, с глянцем нос, розовый язычок, что подрагивал в улыбающейся пасти, выделялись на залитом солнцем снегу игриво, ярко. Собака улыбалась Ольге. Приветствовала её издали радостным махом хвоста-закорючки.

Собачья радость по-ребячьи бескорытна и чиста. Нет за ней умысла или какой-то выгоды, как часто случается в человеческом общении. Нет в ней желания вызвать сочувствие, склонить на свою сторону или просто повеселить. Нет никаких манипуляций. Радость собачья идёт от сердца, из глубины души. И оттого совершенна. Повизгивая и пофыркивая, Бьянка прыгала, пытаясь дотянуться теперь до лица Ольги, её глаз, ушей, чтобы вылизать их, вобрать в себя её запах, наполнить женщину эту дикой своей, первозданной любовью.

— Да ты, кабуть, не меня ли дожидаеть, Бьянка? — приветливо крикнула Ольга, обнимая ликующую собаку, ощущая лицом жаркое её дыхание, шершавую влагу языка.

Теперь, когда лайка ходила брюхатая, Ольга по-женски сочувствовала ей и чаще пускала на ночь в избу, чтобы та не заморозила на лютот морозе своих щенков. Теперь и куски ей доставались пожирнее, и варя погуще. И слово ласковое чаще доносилось до её чутких ушей. И казалось ей, всё точно так, как во времена её юности, когда рядом была мать, а позднее — заботливый доктор Форстер.

В избе Рябиныны Ольгой было теперь определено и постоянное место для лайки, с чистой тряпичей, куда, опустив голову, виновато проходила она, чувствуя на себе недовольный взгляд хозяина. Тот не одобрял присутствия собак в доме, но, поддавшись увещаниям Ольги, что лаечка эта в особом сейчас положении, смирился, только молча зыркал в её сторону угольными глазами. Но сейчас хозяина не было. Бьянка вошла вслед за

Ольгой, не торопясь, благодарно поигрывая хвостом, всё ещё улыбаясь. Подошла к миске, куда хозяйка уже выливала тёплую варю. Жадно смела её, вылизав дочиста алюминиевую латку. И лишь потом, сытая, блаженно улеглась на своё место возле окна.

С того дня, как зародилась внутри Бьянки новая жизнь, она и сама, неожиданно и незнакомо для себя, начала меняться. Неведомые природные силы вдохнули в её кровь, мускулы что-то новое, неподвластное ей. Пугающий и сладкий яд проникал в каждую клеточку её организма, который затаённо расцветал ожиданием. Как и всякая мать, жила она теперь одним дыханием со своими не рождёнными пока детьми, прислушиваясь к каждому их движению и вздоху. Часами дремала в избе Рябининых, лишь изредка выходила к магазину доброй продавщицы Любаши или в школу, где всё так же приветливо встречал её директор Лев Николаевич Толстой. К автобусной остановке, возле которой она всё прошлое лето и осень напрасно ждала доктора Форстера, Бьянка теперь и не совалась. Не приедет её друг, поняла она, разве что весной, когда вновь наступит охотничья пора.

Верные друзья — корова Маркиза да пожилая полёвка, да утка Дуся, да кролики пугливые — живо интересовались здоровьем ожидающей деток товарки. Что она ела, как спала, какие видела сны? Опытные, не единожды рожавшие матери, они знали, как влияют сны на будущее потомство. Однако Бьянке ничего особенного не снилось. Только снег. Медленный и густой. Насчёт снов про снег ни корова, ни мышь ничего не знали. И потому только сочувственно вздыхали.

Старая собака Рябининых Дамка уже не огрызалась на молодую лайку, не злила её, старалась обходить стороной, зная по себе, насколько обострены все чувства матери в таком положении. Но и уживаться с соперницей не собиралась. Ждала, что её время ещё придёт, что непременно докажет хозяевам свою преданность и незаменимость. Вернёт себе право оставаться первой собакой в доме. А пока в избу не шла, как ни заманивала её Ольга. Опускала понуро морду и семенила прочь, всем своим видом выказывая пренебрежение к молодой суке и даже к месту, где её временно приютили.

...Дядя Николай заявился домой уже по сумеркам. Оставил “козла” возле сараюшки, в которой хранились у него автомобильные и тракторные запчасти да иной, в хозяйстве необходимый скраб: резиновые шланги, бочка с солидолом, лопаты, кувалда, к стальному лому приваренная, старая сенокосилка и подобранный когда-то двухметровый фрагмент ракетносителя “Протон”, чьё назначение в хозяйстве дяди Николая даже для него самого оставалось загадкой. В эту сараюшку перетащил он теперь с десятков двадцатилитровых канистр с соляжкой, чтобы завтра посветлу перелить её в стальную бочку, его “НЗ” на случай повышения цен, войны или государственного переворота. В том, что это произойдёт в самое ближайшее время, дядя Николай даже не сомневался.

От избы пахло свежей соломой, пахло хлевом, куриным помётом, жирной едой, которую варила хозяйка, пахло польхающим берёзовым поленом от вытянувшегося струей печного дыма, что уходил в серое небо заодно с сотнями и тысячами дымных струй, поднимавшихся из таких же домиков и домишек по великой этой северной земле.

Ольга уже собрала на стол под образами на божнице и не позабыла две рюмочки-мензурки, из которых они сообща дегустировали домашний самогон в ежедневном режиме. Настоянный на зверобое, липовом цвете, дубовой коре и кедровых орешках, был он цвета тёмного, словно взвар, хранился в большой бутылки и лишь по праздникам переливался в хрустальный графин. Покуда дядя Николай рассупонивался да валенки в галошах, покряхтывая, скидывал, на столе, выстланном клеёнкой с видами города Парижа, появилась мисочка солёных волнух, приправленных подсолнуховым маслом и крошечным ароматного репчатого лучка. Появилась литровая банка мочёной брусники. На фарфоровой селёдочнице — парочка лоснящихся серебряной шкуркой малосольных хайрюзов. Истоющая тёплым паром горка варёных картох, присыпанных сухим душистым укропом. Только что из печи — алюминиевая кастрюлька наваристых щей из квашеной капусты, утиных

шек и гузок. Да ещё из глиняной гусятницы сочился сладкий дух томлёной крольчатины. И, наконец, неперменный каравай хлеба — домашнего, не сельповского, на наживе сотворённого, с пригорелой корочкой, в которой запеклись и зола, и мелкие угольки. Ломти от такого хлеба дядя Николай отрезал отточенным до бритвенного звона ножом. Пластал широко, прижав каравай к груди. Любил ломти толстые, одноручные. Крупной солью сдабривал да ещё чесночищем тёр. Грешным делом, любили они сладко поесть.

Дух сытного, жирного обеда густо растекался по избе.

После первой, обжигающей нутро рюмки, морщась и прижимая к носу хлебную корку, Ольга подорвалась из-за стола, метнулась до столика, где давеча оставила бандероль. И отдала её в руки хозяйку:

— Вот, сёдни те пришло. Дак, я сразу-то сказать забыла.

Рябинин отложил ложку, которой, было, собрался хлебать щи, отвалился на спинку стула и внимательно рассмотрел конверт. Был он каким-то нерусским. Не видно на нём ни снегирей, ни достопримечательностей русской земли, ни поздравлений с Новым годом. Вместо этого — пухлая, видать, с какой-то хитрой подложкой, жёлтая благородная бумага, на которой отпечатаны были его фамилия и имя. И тоже — нерусскими буквами. На каком языке — хрен разберёшь. Однако четырёх лет изучения немецкого языка в верхопадёньгской средней школе в конце шестидесятих годов прошлого века ему всё же хватило, чтобы разобрать напечатанные латинные слова: Nicolai Ryabinin, Astajino, Shenkurskii raion, Arjangleskaia oblast, Russia. Адрес был правильный. Дальше по конверту оттиснуты штампы разных цветов. Голубые и зелёные марки с изображениями средневековых фрегатов и нездешних птиц. Замысловатые цифры и буквы. Такой конверт даже открывать было боязно. Не то чтобы читать.

Письмо было написано, как ни странно, по-русски:

“Уважаемый господин Рябинин! — говорилось в нём. — Адвокатская контора Juan Suarez y Hermanos выражает Вам своё почтение и спешит известить, что 03.11.2010 года в городе Ронда, провинции Малага, Испания на восемьдесят втором году жизни скончался Ваш отец, барон Fernando Alvarez de Blanco Vidal. В своём завещании, составленном и подписанном в присутствии нотариуса господина Pedro F. Riscal в означенном городе Ронда, он распорядился, чтобы всё движимое и недвижимое имущество, а также банковские вклады Вашего отца, согласно его собственноручному завещанию, перешли в Ваше пользование через шесть месяцев после дня смерти Вашего отца, то есть 03.05.2011 года. До означенной даты Вам необходимо лично явиться в нашу контору, расположенную по адресу: Centro de Negocios Fuente Lucena, Plaza Merced, 2229012 Malaga, Espana, с документами, удостоверяющими Вашу личность, и оформить все необходимые документы на вступление в наследство у нотариуса. Наша контора предоставит Вам переводчика для ведения дел. С искренним уважением, Alfonso P. Suarez, адвокат.

P. S. Помимо настоящего официального уведомления направляю Вам нотариально заверенный перевод незаконченного письма барона, из которого Вам будут понятны многие этапы биографии Вашей семьи. Он хотел передать Вам его лично, однако апоплексический удар не позволил осуществиться его желанию. Оригинал письма хранится в нашей конторе. Вы получите его вместе с остальными делами Вашего отца, как только приедете в Испанию”.

— Господи Иисусе! — только и сумел вымолвить дядя Николай, всё ещё сжимая в руке заграничную бумагу. Сердце его колотилось. Рубаха на спине взмокла, словно он часа три колот дрова. Лицо осветилось улыбкой умиленного.

— Помер кто? — бросилась к нему Ольга. Всё это время она неотрывно следила, как менялось лицо мужа, пока тот читал зарубежное послание.

— Батя мой помер, — молвил дядя Николай, — мать его, барон.

Он подскочил с дивана, сорвал с крючка овечий полушубок, набросил на плечи и, ни слова не говоря, шлёпая тапками, выкатился во двор.

Здесь он стоял, глядя на выстуженное, присыпанное звёздной крошкой небо, и глотал крупные мужицкие слёзы, которые давно не касались его обветренного, подёрнутого морщинами лица.

Возвратясь в избу — весь зареванный — дядя Николай первым делом сгрёб со стола чайную кружку с весёлым ёжиком, схоронившимся под грибом, да набуровил в неё самогона. Чуть не под краешек. Выплеснул в себя разом. Гулко играя кадыком, глаза закатывая. И не поморщился! Только склизкой волнухой придавил. Затем распустил розовый пластик и извлёк из него несколько страниц плотной бумаги с давленным баронским вензелем.

“Сынок, — обращался к нему с того света новоявленный иностранный папая, — прекрасно отдавая себе отчёт в том, что всё изложенное ниже может показаться тебе бредом умалишённого, я всё же считаю своим долгом рассказать тебе историю нашей семьи и обстоятельства твоего рождения. Если, конечно, мама не рассказала тебе всё прежде меня. Хотя я просто уверен, что не рассказала. Да и не знала она всего.

Я не стану живописать здесь пятисотлетнюю историю нашего рода, что берёт начало с эпохи католических королей, не стану говорить о послевоенной жизни, в которой у меня была другая семья и другой сын — ныне, впрочем, покойные. Совсем скоро ты сам об этом узнаешь. Сейчас мне гораздо важнее донести до тебя как можно подробнее, чтобы ты понял и не осуждал своего старого отца, почему я вдруг появился в твоей жизни. А ты — в моей.

В день военного путча, который возглавил генерал Франко 18 июля 1936 года, мне исполнилось 15 лет. Вместе с моей матерью и отцом, командующим 2-м отдельным полком Испанского легиона “Герцог Альба”, мы жили в Сеуте, на западе нашего протектората в Марокко. Я учился в школе при гарнизоне и мечтал поскорей уехать в Саламанку, чтобы там поступить в местный университет. Карьера военного, по той причине, что я слишком хорошо знал её на примере собственного отца, вовсе не прельщала меня своими перспективами. Красная пыль Магриба, завывания муэдзинов, контрабандисты со всех концов света, казармы, грохот солдатских башмаков на плацу, ленивая жизнь, единственной отдушиной в которой была гарнизонная библиотека с пожелтевшими страницами Лопе де Веги, Сервантеса, Валье-Инклана, паром до Альхесиреса — вот и всё, что осталось от моего отрочества в Сеуте.

Всё рухнуло в день, когда в Марокко приехал Франко. Именно с этого дня жизнь моей семьи, как и жизнь тысяч других семей бойцов Испанского легиона, пошла совсем по иному пути. Со слов отца, я помню эти бесконечные ночные совещания в Сеуте, когда Франко договаривался с генералом Хуаном Ягуэ выступить единым фронтом против республиканцев, помню, как ждали мы военных самолетов и судов из Германии, как провожали к причалу отца вместе с его Вторым отдельным полком “Герцог Альба”. Его гладко выбритую щёку с запахом дорогого одеколona “Дон Себастьян”, к которой я прижался в последний раз, и его шпагу с позолоченным, сверкающим на солнце эфесом. И их развевающийся на колючем ветру штандарт. Больше я никогда не видел своего отца.

Но много раз слышал. Я чертил на контурной карте боевой путь “Африканской армии” по Эстремадуре, где она соединилась с “Северной армией” Моля, с затаённым дыханием записывал услышанные по радио новости о битве за Бадахос, вырезал заметки из газет о сражении под Кордовой. Я знал, что отец получил контузию под Талаверой-де-ла-Рейна, а потом командовал нашим прорывом на Мадрид.

Здесь, в университетском городке под Мадридом, возле Дома Веласкеса, он и встретился со своей смертью. Как я выяснил позже, мой отец, которому только что исполнилось тридцать пять лет, принял её от сорокалетнего интербригадовца Игнатия Рябинина, приехавшего в нашу страну из СССР и воевавшего на стороне республиканцев в дивизии “Виктория”. В той засаде, которую они устроили у Дома Веласкеса, было много иностранцев. Из Франции, Венгрии, Америки. Но именно советский солдат Игнатий Рябинин, как я потом узнал, нажал на спусковой крючок гранатомёта, разорвавшего в клочья моего молодого отца. Нам с мамой даже нечего

было хоронить. В той мясорубке удалось опознать только его обгоревшую майорскую фуражку да кисть левой руки с обручальным кольцом и перстнем легионера. Их и прислали нам в марокканский гарнизон в западном цинковом гробу. Так мы их и похоронили на местном кладбище при соблюдении всех положенных при похоронах высших офицеров легиона почестей. Гроб с папиной рукой накрыли национальным флагом, солдаты произвели прощальный салют и оркестр сыграл гимн Испании.

В тридцать девятом году, оставив маму в Марокко, я как сын погибшего майора Испанского легиона без экзаменов поступил на юридический факультет университета Саламанки. Сбылась моя детская мечта. Однако мысль о не известном мне в ту пору советском офицере не давала мне покоя. Я не мог понять, почему так случилось, что именно этот человек, рождённый в далёкой, чужой мне стране, вдруг оказался именно в этот день и именно в этот час возле Дома Веласкеса и почему именно он уничтожил моего папу. И почему его дети не страдают от этого, а страдаю именно я? Что я сделал этому человеку и его семье? И за что он так нас покарал? Жизнь этого человека и моя жизнь казались теперь связанными отцовской кровью. Я решил найти этого офицера. Или хотя бы его семью, с тем, чтобы убить их всех до одного собственными руками. “Viva la muerte, y muera la inteligencia!”* — таков был лозунг Испанского легиона, что провозгласил его основатель генерал Хосе Мильяно Астраи. Этот лозунг я наколол на своей груди. Рядом с сердцем.

Почти полгода ушло у меня на то, чтобы узнать через отцовских друзей в окружении Франко о всех интербригадовцах из дивизии “Виктория”, которые оказались в нашем плену. И ещё несколько месяцев, чтобы при помощи местных адвокатов получить разрешение на встречу с ними. Раз в неделю, словно по расписанию, я садился на поезд, который ехал из Саламанки в Мадрид, или Кордову, или Барселону только лишь затем, чтобы идти в окружную тюрьму и расспрашивать пленных республиканцев о русском офицере, повинном в смерти моего отца. Вскоре я уже достаточно много знал об этом человеке.

Игнатий Рябинин приехал в Испанию летом тридцать шестого года и в качестве военного советника вступил в двенадцатую интербригаду под командованием венгра Матэ Залка. Участвовал в обороне университетского городка, а во время битвы при Гвадалахаре был тяжело ранен и отправлен в СССР. По словам его однополчан, до того, как оказаться в Испании, Игнатий служил в советской военной разведке в должности капитана. Жил вместе с семьёй в городе Колшино под Ленинградом. У него была жена и сын четырёх лет. На карте СССР я нашёл этот город и понял, что доеду до него от Ленинграда на поезде меньше чем за четверть часа. Оставалось собрать денег и отправиться в СССР на поиски моего личного врага.

Однако немецкие войска опередили меня и вторглись на территорию Советского Союза. Летом сорок первого в Испании объявили набор в “Голубую дивизию”. Надо ли говорить, что на призывной пункт в Ирун на границе с Францией я прибыл одним из первых? А 13 июля наш эшелон под звуки военных оркестров и благословение военного министра Валеры отправился в сторону немецкого лагеря Графенвёр. Здесь все мы прошли медицинский осмотр и получили новое обмундирование, которое отличалось от обычной немецкой пехотной формы только особым нарукавным знаком выше локтя. На знаке нашей дивизии был изображен щит зловещего вида с чёрной каймой. Середину щита пересекала горизонтальная жёлтая полоса на красном фоне, а на ней красовался четырёхконечный чёрный крест и пять перекрещивающихся стрел, брошенных всером наконечниками вверх. Замысловатое сооружение венчала надпись: “España”. Отныне наше соединение стало называться 250-й пехотной дивизией вермахта.

Россия показалась мне бескрайней и безлюдной страной, в которой мне придётся исчезнуть без следа и памяти навсегда. Наш эшелон двигался всё дальше и дальше на север этой страны, оставляя позади себя остовы сгоревших домов, запах паровозной гари, мрачные безжизненные города, людей

* “Да здравствует смерть, смерть разуму!” (исп.)

и животных, глядящих на нас опустошёнными глазами. Мы кричали им, что скоро они станут свободными, что тирания большевиков и евреев падёт, но они только глупо улыбались нам в ответ, словно лишились разума. И махали руками вслед.

4 октября сорок первого года мы высадились под Новгородом и заняли участок фронта на линии Новгород — Теремец. А 16-го уже перешли в наступление. Это был мой самый первый бой. В тот день пошёл снег.

Через час мы вошли в Дубровку. И вот тогда я увидел впервые трупы наших врагов. Они валялись на мёрзлой земле с оторванными руками, ногами, разбитыми головами, несуразно вывернутые, присыпанные грязью, в лужах крови, сочащейся из их растерзанных тел. Это были ребята вроде меня. Ничем не лучше и не хуже. Быть может, они тоже учились в университете, возможно, изучали то же самое римское право, что и я, возможно, что, как и у меня, у них ещё не было девушки и они ещё не любили никого всерьёз.

До ноября наш 262 полк наступал на позиции русских, а затем начал отступать. Мы сдали Вишеру, затем Тихвин и откатились за Волхов. Испанцев сковал холод и страх, обратившийся вскоре в полное разочарование. И сколько бы раз ни приезжал на наши занесённые снегом позиции генерал Муньос Грандес, сколько бы ни прижимал наши озябшие души к своей героической груди, на которой позвякивал целый иконостас как испанских, так и немецких наград, ему так и не удалось растопить ледяной страх наших парней.

Но большинство уже просто не могло сопротивляться. Именно тогда я впервые понял, насколько слаба Испания и её мужчины.

В тяжёлых позиционных боях мы простояли на Волхове до августа сорок второго, потеряв около четырнадцати тысяч ребят.

По моим подсчётам, до Колпино было не так уж и далеко. На поезде я мог бы добраться туда за пару часов. Бои шли рядом, и когда я узнал, что несколько сотен солдат 269 полка были захвачены в плен под Красным Бором, а затем отправлены в лагерь, расположенный в этом самом Колпино, я впервые в своей жизни позавидовал, что не попал в плен вместе с ними. И сразу же погнался эту мысль прочь, потому что мой покойный отец никогда бы не простил мне добровольного плена.

В начале сентября испанцы сменили 121 пехотную дивизию вермахта на участке от Баболово до железнодорожной ветки Колпино — Тосно. Так мы включились в блокаду. А я, можно сказать, уже дышал в спину своему заклятому врагу Игнатию Рябинину.

Ходили разговоры, что мы возьмём Колпино со дня на день. В свой полевой бинокль я видел окраины этого города и даже гигантские серые айсберги цехов Ижорского завода. Я мысленно представлял себе, как с автоматом наперевес, словно тень, пробираюсь между этими зданиями, скольжу по улицам вместе с придорожной пылью, зорко всматриваюсь в окна домов, куда не находясь в одном из них то самое, единственно нужное мне лицо, из-за которого я, собственно, и торчу уже целый год на этом грёбаном Восточном фронте. Лицо Игнасио. Со временем я стал его звать так, на испанский манер. Он был мне вроде родственника, которого я никогда не видел. Вроде брата Авеля, которого я хочу прикончить.

Но Колпино защищался героически. А мне только и оставалось, что печально и немощно взирать на него сквозь окуляры полевого бинокля. Так мы и смотрели друг на друга всю осень и начало зимы — я и город.

Утром 12 января сорок третьего года красные обрушили на наши позиции тысячи тонн стали, ураганы огня. Это был последний день моей войны. Во время ночного артобстрела двухсотграммовый осколок снаряда с отточенным, будто наваха, краем разрубил мой живот по диагонали слева направо. В таких случаях не чувствуют боли. Это правда. Изумлённо я смотрел на собственные кишки, которые, подобно голубым змеям, медленно вываливались из моего чрева, и спешно пытался засунуть их обратно, словно стыдясь за то, что такое со мной прилюдно случилось. А через несколько секунд словно кто выключил свет и звук в моей голове.

Очнулся я на операционном столе. При свете керосиновой лампы. Немецкий хирург зашивал мой живот толстой ниткой. “Она слишком толстая, — подумал я, — почти сапожная дратва”. И вновь расстался с сознанием. А когда вновь открыл глаза, услышал незнакомую речь.

Я оказался в плену. В лагерном лазарете. В Колпино. Ко мне приставили Сергея Михайлова. Во время гражданской войны он воевал на стороне республиканцев в Басконии, а теперь был переводчиком в НКВД, вернее, в управлении по делам военнопленных и интернированных. А я был очередным клиентом этого управления.

Через несколько дней стало ясно, что Сергею нужна подробная информация о нашем 262-м. Настроениях солдат и офицеров. Последних распоряжениях командования. Перемещениях и краткосрочных тактических задачах.

И вот тогда я решил торговаться с Михайловым. Я сказал ему:

— Слушай, Серхио, нам, кажется, уже ясно, что после Сталинграда война пошла совсем по-другому. Войне скоро конец. Давай так. Ты поможешь мне, а я помогу тебе. В России я ищу человека по имени Игнасио Рябинин. Может быть, ты знаешь его?

— Конечно, знаю, — ответил Михайлов, — мы вместе уезжали в Испанию, плыли на одном корабле.

Сердце моё в это мгновение чуть не выскочило из груди, подобно кишкам из живота несколько недель тому назад. Я почувствовал запах Игнасио. Горький пот его подмышек почувствовал я тогда.

— Где он? — спросил я, сглатывая комок в горле.

— Рябинин погиб в сорок первом, — вздохнул, прикуривая злую папиросу, Михайлов, — в боях за Волхов. Там его и похоронили. Впрочем, тебе подробнее сможет рассказать обо всем его вдова Мария. Да ты знаешь её. Она работает врачом в лагерном лазарете.

Я действительно помнил её — хрупкую, смуглую брюнетку, чью оливковую кожу ещё сильнее оттенял белый халат. Она несколько раз подходила к моей кровати, я чувствовал её прохладную руку на своих ранах. И она улыбалась мне. Как не улыбалась, кажется, никому. Тогда я не обратил на это внимания. Но сейчас... Если бы она знала, что прикасается к кровному врагу своего мужа!

Во что бы то ни стало я решил вернуться в лагерный госпиталь. Сделать это было несложно. Гарнизонное детство научило меня множеству солдатских ухищрений в сфере медицинских симуляций, самым простым из которых была искусственная диарея, вызываемая несколькими граммами хозяйственного мыла натощак. “Ну, что, капитан, — спросила меня Мария во время первого же осмотра, — надеюсь, на этот раз ваша рана не смертельна?” Эта женщина неплохо говорила по-испански. А её андалусская внешность и грациозность вообще сбивали меня с толку. “Вы не испанка?” — спросил я ее. “Нет, — ответила Мария, — я с Украины”. На второй день она под села ко мне на кровать, взяла за запястье, чтобы замерить пульс, и вполголоса сказала: “А ведь вы симулянт, капитан. Все анализы в норме. У вас нет никакой дизентерии”. И посмотрела мне прямо в глаза. Я тоже не отводил взгляда и мысленно умолял судьбу об одном: оставить меня в лазарете. “Тем не менее, я перевожу вас в инфекционный блок, — сказала она минуту спустя, — такое опасное заболевание не должно перекинуться на остальных военнопленных”.

Теперь я лежал в инфекционном блоке. Вооруженные охранники кемарили в конце и начале коридора. На окнах — хилые, второпях приваренные решетки, которые при желании можно было раскачать одной рукой. Но главное — здесь я был совсем один. План созрел молниеносно. Когда Мария придет ко мне на очередной осмотр, я задую её. Затем надену её халат и пройду мимо охранников в ординаторскую. Здесь возьму чужие документы и выйду из медицинской части на волю. Нужно только дождаться, когда Мария будет дежурить в ночную смену.

И вот этот день настал. Она вошла ко мне, когда за окном протяжно выл ветер с Балтики и снежная крошка била в стекло. Керосинка у Марии в руке светила неярко. Так что я видел перед собой только её глаза — горячие

и влажные. Я не заметил в них страха перед неминуемой смертью. Ни даже её предчувствия. А лишь тихий, спокойный свет, который таился внутри её души. В другом месте и в другое время я мог бы назвать его любовью. Если бы не война. Если бы не вражда. Если бы не смерть, что ходила по пятам за всеми нами. Мария, как и раньше, присела на краешек моей кровати, спросила меня о самочувствии и вновь взялась за моё запястье. Этого я и ждал. Свободной рукой обнял её за шею и прижал к себе. Я хотел поцеловать жену моего врага перед смертью. И во время поцелуя сломать её шейный позвонок. Но она вдруг ответила на моё прикосновение, и сама прильнула к моим губам. Впилась в мой рот с небывалой нежностью и страстью. Она шептала мне какие-то слова по-русски, разрывала мои больничные одежды, она целовала мою грудь и живот с широкой раной по диагонали, и дрожала, сжимая зубами до крови мою руку — лишь бы не закричать. Я тоже мог бы кричать от счастья. И тоже сдерживал крик, больно сжимая её шелковое плечо. И тоже шептал ей ласковые слова по-испански, и не мог надыхаться этой женщиной и ее, хоть и мимолетной, но не растроченной любовью.

Вот так это и случилось. Моей первой женщиной стала вдова моего врага. И я, конечно, не смог её убить.

Мы встречались ещё пять раз — до тех пор, пока меня вместе с другими испанцами не перевели в другой лагерь для интернированных, в республике Коми. Здесь мне предстояло прожить ещё почти два года, пока мама через Международный Красный крест не добилась моего освобождения и возвращения в Барселону, куда она переехала из африканской Сеуты. Весной сорок пятого, когда Советский Союз праздновал победу в войне, я получил письмо с русским штемпелем на обороте. От Марии! Она писала мне по-русски, ни разу не назвав по имени. “Я не искала тебя, даже не думай, что могло быть как-то иначе, — писала Мария, — после нашей последней встречи я уволилась с работы и уехала в Ташкент, чтобы забрать сына из эвакуации. Но там, в Ташкенте, узнала, что мой сын Андрей умер от холеры в начале 1943 года. Там же я узнала, что беременна. Николай родился в ноябре сорок третьего. Ему уже полтора года. Он красивый и здоровый мальчик. Мы живем все вместе у моей матери на севере России. Я работаю. У меня всё хорошо. Вряд ли мы когда-нибудь увидимся с тобой на этом свете. Поэтому я и пишу тебе это письмо. Просто знай: у тебя здесь есть сын. Никогда меня не ищи. Это бессмысленно, бесполезно. Я дала Николаю отчество и фамилию покойного мужа. Прощай, Мария”.

Сотни раз перечитывал я это письмо, пока серые буквы не начали стираться от моих слез и прикосновений. Много раз я предпринимал попытки найти Марию и Николая, однако СССР в то время уже был закрытой страной, и на мои запросы через советское консульство в Барселоне приходили формальные отписки. Наконец, в середине девяностых, я обратился в телевизионное шоу *Quien sabe donde?** Но прошло еще несколько лет прежде, чем они напали на след Марии...”

12

Весь следующий день, и наавтра, и через три дня только и разговоров было в доме Рябининых, что про почившего в Бозе папу. Вспоминались Николаю мутные мамины разговоры да странные намёки. На свет Божий впервые за многие годы были извлечены со дна древних семейных сундуков пожелтевшие, хрупкие, словно сухие листья, документы. Среди них и совсем случайно та самая секретная похоронка, которую мать никогда прежде не показывала сыну и в которой сообщалось о смерти Игнатия Рябина 28 октября 1941 года в боях за город Волхов, а вместе с ней — свидетельство о рождении самого Николая Игнатьевича от 30 ноября 1943 года, в котором в графе “отец” красовалось имя Игнатия. Две эти даты могли свидетельствовать

* *Quien sabe donde?* (исп.) — «Кто знает, где?» Телевизионное шоу в Испании. Аналог «Жди меня».

только о том, что мама родила от покойника. Или что покойный красноармеец Рябинин не был его отцом. Вслед за тем были подняты и самым внимательным образом прочитаны все девятно семь писем, которые остались после смерти матери дяди Николая; все девятнадцать общих тетрадей в дерматиновых обложках, в которых она вела хозяйственные записи с пятидесятого по шестьдесят девятый годы; обнаружена и исследована картонная коробка из-под итальянских сапог, в которой хранились и вовсе бессмысленные бумаги: квитанции на оплату квартиры в городе Ургенч, диплом отличника областного комитета здравоохранения, бланки денежных переводов, театральные программки из Большого театра, а также выписки из санаторных карт. Даже анализ маминой мочи за май пятьдесят девятого года. Но ни в одном документе, ни в одной из бумаг дядя Николай со своей женой Ольгой не нашли даже ворсинки с парадного мундира дона Фернандо. Даже те ни его не нашли.

— Вот ведь женщина! — не переставал удивляться на мать дядя Николай. — Всю жизнь прожила с этим грузом. И ни малейшим словом. Ни намёком. Даже перед смертью не обмолвилась. Гвозди бы делать из таких людей, как предлагал поэт Маяковский.

Он даже поймал себя на мысли, что затаил на покойную мать обиду. Ведь он-то всё же имел право знать, что настоящий его отец вовсе не погибший на фронте красноармеец Игнатий Рябинин, как утверждала семейная легенда, а испанский барон. Ольга тоже сердилась на свекровь. И, подходя к домашнему иконостасу, глядя на Богородицу, всякий раз с укором шептала: “Нехорошо, мамаша, поступили. Вон, глядите теперь, как Николаша-то изводится. А всё ж по вашей, мамаша, вине. Могли бы и сознаться. Что ж такого-то?”

Через несколько дней бессмысленных попрёков и обид, после документального расследования, которое со всей очевидностью раскрыло мамину тайну семидесятилетней давности, принялись Рябинины думать да гадать, как им теперь к папкиному наследству-то подступиться. Не единожды перечитав письмо, они, кажется, окончательно поняли, что дяде Николаю до конца апреля необходимо ехать в Испанию и вместе с паспортом явиться к нотариусу. Эта простая с виду задача казалась Рябининым из разряда фантастических, поскольку дядя Николай дальше районного центра Шенкурска носа не совал. По телевизору, само собой, слышал о существовании столицы нашей Родины Москве, а также множестве иных российских городов и весей, однако о том, чтобы поехать, ну, хотя бы в самый ближний большой город Архангельск, об этом и мечтать не смел. Да и куда ехать, если большое крестьянское хозяйство съедало всё его время, без остатка. Тут на пол-то дня за соляжкой смотаешься, и то душа не на месте: как там скотина, а как баня, а как чунки, что поставил на холод, а с крышей что, с назёмом? Прошлый год загремел в районную больницу. Сердце прихватило. Так он врача здешнего — дедушку с белой бородкой остренькой — извёл: отпусти ты меня, и всё тут. Через три дня всё одно сбежал из этой распрекрасной больницы, начеркав заявление: “никаких претензий не имею”. Драпал оттуда домой, аж пятки сверкали.

А тут — Испания...

— Ну его на хрен, наследство это, — бросил как-то в сердцах Ольге, когда они в очередной раз думали-гадали, как ему в Испанию эту попасть. — Жили без него сто лет, дак проживём ещё двести.

Но Ольге наследство получить очень хотелось. Тем более, что она, женскую свою интуицию в ход запуская да детские сказки про королей помня, проницательно предполагала: коли уж мужнин папа оказался испанским бароном, денег в его замке должно быть немалое. Так что им на новую избу хватит, и на трактор, и может, даже... на иностранный автомобиль! Поди, ещё и останется.

— Нет, Коля, — настаивала она, — ехать тебе туда обязательно нужно. Я тут уж как-нибудь управлюсь. Ты этим голову не забивай. Вот только ехать-то как?

— То-то и оно.

Помогла неожиданно соседская девчонка Нюрка Собакина: отучившись в Вельском колледже на штуркатура, она с успехом трудилась теперь в родном селе в сфере почтовой и междугородной связи.

— Да это теперь проще пареной репы, — ответила Нюра на осторожный вопрос Ольги, как нынче в заграницу попасть можно. — Звоните в фирму туристическую и покупаете тур, куда хотите. Хоть даже в Китай. Только деньги плати. Они вам всё и устроят.

— Поди ж ты! — удивилась Ольга. — Даже в Китай! А в Вельске есть такие фирмы?

— Навалом, — кивнула Нюра. Вышла в соседнюю каморку и вернулась с районной газетой “Важский край” в руке. Развернула, показала тётё Оле яркое объявление: на нём были нарисованы пальмы и молодая бабёнка с едва прикрытыми сиськами. И телефон.

— А ты чё, тётё Оль, в Египет собралась аль в Турцию?

— В её, — рассеянно кивнула Ольга, вчитываясь в текст объявления, — в её, родимую.

Через час она, еле справляясь с дыханием, набирала из дома заветный номер. И услышала на том конце провода девичий щебет. С первых мгновений их разговора девка Ольгу словно сладким мёдом мазала.

— Чем могу вам помочь? — спросила. — Хотите отдохнуть в Египте? В Турции? На Мальдивах или на Сейшелах?

— Нет, милая, нам этого всего не нужно. Нам бы в Испанию мужика нашего отправить.

— Отличный выбор, — затараторила девка. — Можем предложить отдых на Коста Брава и Коста дель Соль. Какого уровня отели предпочитаете? Какую линию? Всё включено или полупансион? Можем даже сделать вам таймшир. Правда, это будет дороже.

Девка сыпала незнакомыми словами, отчего смелость Ольги враз исчезла, энтузиазм пропал и руки опустились.

— Знаешь, дочка, — перебила девичий щебет Ольга Андреевна, — ты мне мудрено-то не сыпь. Всё одно ничё не понимаю. Ты мне только одно скажи: как в Испанию эту попасть?

Девка примолкла на мгновение и вдруг просто, без затей, словно жила на соседней улице, сказала:

— Да, конечно, можно, тётечка. Всё вам сделаем. Не беспокойтесь.

Так оно всё и вышло. Через месяц, собрав по сусекам скромные сбережения да присовокупив денежку, отложенную на собственные похороны, дядя Николай стал счастливым обладателем заграничного паспорта Российской Федерации и туристической путёвки в Испанию. Надо сказать, первым за всю историю русской деревни Астахино.

13

К тому времени и Бьянке пришёл срок разродиться.

Роды у неё начались ближе к полуночи, когда не только в доме, но и в хлеву, и в курятнике сельское население догоняло второй сон.

Но ещё накануне она почувствовала необъяснимую тревогу. Поднималась со своей подстилки, подходила к миске со вчерашней кашей. Нюхала. Но от каши её мутило. Выходила на улицу. Но и здесь, на чистом воздухе, лучше не становилось. Бьянка возвращалась назад, к Ольге, заглядывала ей в глаза, крутила хвостом и поскуливала, прося о помощи, снисхождении или хотя бы о ласковом слове. Только хозяйка, как и всякий деревенский житель, такие простые естественные события, как рождение и смерть обитающих подле него тварей, воспринимала спокойно, с философией: выживут — хорошо, а подохнут, знать, на то воля Божья. Так что, потоптавшись возле хозяйки и получив от той сдержанную, усталую улыбку, беглое прикосновение руки, лайка вернулась к своей лежанке — беспокойно прислушиваться к тому, что происходило внутри её переполненного, тяжелого чрева.

Ей смутно, как в обморочном сне, вспоминались ласки матери, всегда доступное сладкое молоко ее сосцов, ее бесконечная любовь к ней, Бьянке,

постоянная, неуклюжая возня братьев и сестер, вместе с которыми тесной семьей она жила когда-то в вольере для чистокровных лаек. Теперь и сама она станет матерью. А значит, та бесконечная любовь ее матери прольется в глубь времен, от Бьянки — уже к ее детям, а от них дальше и дальше...

Чувствуя приближение родов, Бьянка то поднималась с подстилки, вставала, потом вдруг начинала рвать её зубами, отплеываясь от кусков ткани и слежавшейся влажной ваты. И снова в неосознанном беспокойстве падала на разорванную телогрейку, вытягивая вперед длинные белоснежные лапы. Потом почувствовала, как из неё выходит густая слизь. Жалобно заскулила, поминутно оборачиваясь назад, к хвосту.

Прошло немного времени, и все внутри неё начало вдруг с силой сжиматься и разжиматься: это, растягивая и разрывая её плоть изнутри, пошел вперед её первенец. Бьянка заскулила, завалилась на бок. Щенок шел медленно, тяжело. Несколько раз схватки вдруг замирали, и этих мгновений лайке хватало, чтобы сделать глубокий выдох. И снова захлебнуться, дышать порывисто, едва поспевая за собственным сердцем, готовым от напряжения разорваться в куски.

Так продолжалось не менее часа, прежде чем из её растянувшегося кольца появился синюшный, глянцево сверкающий пузырь, внутри которого, в окружении околоплодных вод, помещался её первенец. Пузырь был похож на недозревший баклажан. Но в какую-то секунду лопнул, орошая бесцветной жидкостью шерсть лайки, разверзшееся, жарко дышащее ее лоно, обнажив торчащие короткие пятнистые лапки. Последним усилием, последним толчком мышц она вытолкнула щенка наружу. Торопясь обернуться к нему, неловко присела на щенка тяжелым материнским задом, чуть не переломав его хрупкие, как у насекомого, косточки.

Бьянка лизала сухим языком его шерстку и дивилась пегому, в черных подпалинах, окрасу щенка. Его туповатой морде, совсем не похожей на остренькую материнскую, круглым мясистым ушам, лапам с широкой ступней. Ничего в нем не было от Бьянки! Разве что немного белого окраса да хвостик, в котором угадывалась будущая тугая закорючка.

Облизав его с головы да кончика хвоста, она перекусила веревочку пуповины и только сейчас улыбнулась неизвестно кому и зачем. Через несколько минут из неё вышел разорванный послед. И, повинувшись какому-то древнему инстинкту, Бьянка тут же его проглотила.

Другой щенок двинулся внутри неё скоро, едва она успела подтолкнуть первенца к жесткому, напрягшемуся молозивом, сосцу и тот ухватился за него слепо, отчаянно, голодно. Второй шел проворнее первого, подталкиваемый поддрагивающими мышцами матки, втискиваясь во влажные, покрытые слизью и влагой родовые пути — туда, где пахло неизвестными запахами человеческого жилья, перепревшей телогрейки и материнского молока, которым уже давился, чавкая, его старший брат. Второй вывалился из материнского чрева тяжело и влажно в неразорванном пузыре. И Бьянка поспешила порвать пузырь зубами, чтобы щенок не захлебнулся. Но тут послышался истошный писк потерявшего сосок первенца, и мать резко повернулась к нему, случайно зацепив задней лапой хрупкое тельце новорожденного. Желтый её коготь, хоть и сточен был, хоть не острый, но передал, видать, тому горлышко, не давал вздохнуть. Он был еще мокрым и теплым и пах её смазкой, когда она вновь принялась вылизывать его. Но щенок уже не шевелился, не дышал, не издавал звуков. Несколько раз лайка ткнула его горячим носом, перевернула на спинку, снова обнюхала. Тот не шевелился. Он был таким же пятнистым, как брат, таким же мордатым, широколапым. Только белого цвета в окрасе его было побольше. И ушки острее. Мертвый щенок лежал перед матерью на спине с поджатыми лапками, распущенным хвостом. Бьянка дотронулась до него языком и ощутила, как коченеет его тельце. Как смерть отнимает у неё сына.

Она не скулила. Не плакала по мертвому щенку, поскольку еще не успела ощутить его сыном. Тем более, что потуги начались вновь. Это пошел по родовым путям последний из ее детей.

И когда он плюхнулся на телогрейку, когда облизала его, осмотрела с ног до головы, то поняла, что этот будет любимым. Она произвела на свет девочку! Такую же белоснежную, как она сама. Такую же остроноскую, тонконогую, складную. “Разродилась, матушка, — проговорила Ольга, присаживаясь на корточки возле лайки, — ну, и слава Богу!” Тёплая опытная рука коснулась её горячего брюха, а пальцы коротко прижали сосок, из которого в ответ брызнула жирная молочная струйка. “И робёнкам еда есть”. “Робёнок” она пока трогать не стала, удивилась их породистости и красоте, каковых в этом доме ещё не видала. Заметила, конечно, и мёртвого, лежащего в сторонке. Чтобы лишний раз не тревожить суку, Ольга отвлекла её внимание нежным поглаживанием шейки, в то время как другой рукой нащупала окоченевшее тельце и сунула его в карман ночной рубахи. “Нука! — велела строгим голосом Дамке, поднимаясь с колен, — пошла вон отседа. Неча тебе тутова делать!”

Воротясь в горницу, она положила мёртвого щенка возле печки. Надрала чистых тряпок да вынула из сундука старое шерстяное одеяльце, которым пеленала ещё собственную дочку. Зачерпнула из ведра эмалированную миску студёной колодезной воды и вынесла эти “дары волхвов” усталой Бьянке.

Русская печь за ночь не выстыла. Ещё отдавала женское своё тепло дому: алюминиевой мятой кастрюле, в которой томилось, кисло вчерашнее молоко на творог; хозяйским онучам, источавшим на всю горницу запах запущенного человеческого тела; чёрному чугунок с россыпью гречневой каши; вереницей пристроенному на верёвке к печному боку тряпью для просушки — от больших размеров женских трусов с ромашками до кальсон с застарелыми пятнами, от бабушкина батистового платочка до строительных брезентовых рукавиц Николая. Тут же, в подпечье, загодя схоронено было всё, для скорой растопки необходимое: сухая до звона берёзовая щепка и ольховые дровишки, отдавшие в теплоте свою влагу, готовые вспыхнуть радостно от первого язычка пламени. Через несколько минут пламя уже бушевало в горниле, мерно и уверенно гудело в трубе, выбрасывая в низкое, затянутое предрассветной сажей небушко раскалённые звёздочки. И лишь когда разгорелось пламя до смерча огненного, швырнула Ольга ему на съедение обёрнутое в тряпочку щенячье тельце: через полчаса от него не останется и следа — только серый прах да редкие искорки, улетевшие ввысь.

Тем временем, похрустывая суставами, постанывая благостно да поругиваясь не злобно, не матерно, выбрался из койки хозяин. Казался он в сатиновых трусах с романтическими ландышами, в майке синей, застиранной, с эмблемой спортивного общества “Динамо” похожим на пионерского вожатого, заплутавшего лет на тридцать в непролазной тайге. Дикая его, не то, чтобы бритвы, но даже и ножниц не знавшая бородаща топорщилась седой, местами пожелтевшей от злого табака порослью. Шерсть торчала и из ушей, и из носа, кудрявилась по ногам, по ручицам и под майкой столь буйно, что Ольга порой задавалась удивлённым вопросом: не со зверем ли лесным, не с вурдалаком ли прожила она тридцать с лишком лет своей жизни? И с грустной усмешкой отвечала себе: с ним, с упырём! Однако, в отличие от любого упыря и вурдалака, Николай Игнатьевич первым делом шлёпал босиком в красный угол, зажигал лампадку красного стекла перед ликом Спасителя да Царицы небесной, да батюшки Серафима Саровского, да картонной иконки Матронушки Московской и принимался читать правило. Обычно повторял два раза “Отче наш”, два раза “Богородице, Дево, радуйся...” и “Символ веры”. И только в выходные и праздники, когда время позволяло, читал всё правило целиком, начиная с “Молитвы мытаря” и заканчивая “Достоиню есть...” При этом усердно, поясню кланялся не только, положим, при “Трисвятом”, но и после каждой молитвы. Бывало, что и коленапреклонённо стоял пред иконами и башкою о половицы крашенные бился. Жена его Ольга к молитвам мужа относилась уважительно, хотя сама их не читала, полагая наивно, что Бог у каждого человека в душе. Выросла она в семье атеистической, да и муж в молодые годы не слишком тешился Богообщением. Религиозным стал в последние несколько лет. И сколько ни страдал жену адескими муками и вечной разлукой в следующей, загробной их

жизни, Ольга только улыбалась в ответ. Она верила исключительно в жизнь нынешнюю, полную тревог и непреходящих забот, с её невспаханными огородами, скотиной не кормленной, домом не прибранным. И саднящей тоской бессилия, что всё чаще разливалась чёрными чернилами в надсаженном бабьем сердце.

Перекрестясь и поклонившись до земли, как есть, в трусах своих с ландышами, Николай пошёл напрямик в сени, опорожниться. “Видала! — прокричал оттуда, заглушая тугой ток струи в цинковое ведро. — С прибавлением тебя, мать!” И вновь вломился в горницу, радостно продрогший и опроставшийся: “Ну, чё? Топить будем?” Ольге отчего-то не хотелось топить этих кутят, хотя за жизнь свою в родительском доме, а затем и в своём собственном утопила она их не считано. Забирала помётами, стараясь не глядеть в глаза обеспокоенным мамкам. Уносила подальше, за край огорода, и всю эту писклявую, слепую ораву вываливала в дубовый запарник со ржавой водой до краев. Сверху прихлопывала крышкой, чтобы не видеть ничего, не слышать. Возвращалась не раньше, чем через час, с короткой лопатой, какой обычно отсекала осенью морковную ботву. Копала могилку, не глубокую, скорую, и опрокидывала в неё мёртвых кутят вместе с водой. Дальше — только землёй забросать. И хотя к делу этому окаянскому с годами привыкла, всякий раз жалило её, что совершает она детоубийство, творит дело богопротивное. И сознание греха оставляло в её сердце царапающий след.

— Давай оставим, Коля, — в этот раз попросила она мужа, взывая не столько к его совести, сколько к природной крестьянской прижимистости, — породистая всё ж. Может, городские за ейных щенят и денег дадут. Тебе в дорогу не лишние будут...

“А ведь права баба”, — согласился в душе Николай Игнатьевич, но прибавил:

— Сама кормить-то ей будешь. Мя не впрягивай!

14

Весеннюю охоту в том году открыли рано, в апреле, как раз в канун отбытия дяди Николая за кордон. А поскольку никакого представления о том, когда открывают охоту в далёкой стране Испании, дядя Николай не имел, да и, по правде сказать, сомневался, разрешат ли ему вывезти на чужбину его бескурковку да гильзы, да пороха бездымного банку, решил сбегать в лес напоследок. “Там у них, небось, только пальмы да мандарины, — вспоминал дядя Николай уроки географии и телевизионные фильмы про иноземное житьё-бытьё, — крокодилов разве что шмалять. Аль носорогов. Куда против них с моей-то пукалкой?”

А на поле, что пряталось на пригорке напрямик за огородом, уже повсюду тьюрыкали не меньше трёх пар сторожких долгоклювых кроншнепов, носились да кувыркались чёрными истребителями хохлатые чибисы, а на рассвете и по вечеру возле прошлогодного, с осыпавшейся хвоей и оттого похуже на обглоданный скелет палаша токовали молодые бесстрашные косачи. Дядя Николай, конечно, мог нарубить свежих ёлочек, обустроить шалаш и набить из него за зорьку не меньше трёх петухов. Но не стрельба и даже не лёгкая добыча неопытных, необстрелянных ещё птиц влекли его на охоту. Это было совсем другое, глубокое чувство, в нём нашлось место и первым проталинам с чешуйчатыми побегам мать-и-мачехи, и сладкому соку, брызжущему с берёз, и насосавшимся елейного воздуха почкам осин, и самому воздуху — уже не выстуженному, не ледяному, но полному первых вкусных запахов и едва ощутимого тепла, наполняющего сердце и всё тело надеждой будущей жизни.

Бьянка тоже чувствовала весну. И точно так же необъяснимое первобытное чувство, которому она не знала названия, влекло её в лес, на подсохшие проталины, в лужи с прозрачной водой, где, должно быть, уже взбивали гроздь икры лягухи, на голые покуда просеки, где слышен взмах даже крохотного крыла, заметно наималейшее шевеление зверя. Собственные щенки

лайки, давно поднявшиеся на ноги, прозревшие, увлечённые больше играми и потасовками, чем сном и вниманием матери, да к тому же больно цепляющие когтями за сиски — даже они в эти дни занимали её не так, как предвкушение возможной охоты. Едва хозяин принялся натягивать бродни, а потом железно клацнул затвором, проверяя на свет чистоту стволов, Бьянка вскочила с лежанки, повизгивая, затопталась у ног Николая, всем своим видом, взглядом, голосом умолая: “Возьми меня с собою, хозяин!”

— И ты собралась на охоту? — спросил дядя Николай, перепоясывая телогрейку на пузе старым кожаным патронташем. — Не рано тебе? Нет, говоришь. Ну, что ж, пошли. Вдвоём вселее!

Пока поднимались по обоим угору, с радостью окунаясь в буйство диких запахов, Бьянка не раз припускала вперёд и вновь возвращалась к хозяину, громким лаем сообщая ему о притаившейся парочке чибисов, заячьей тропке, овсянке на ветке старой рябины. А уж когда, чавкая сахаристо влажным снегом проталин, добрались до закрайка тайги, тут и вовсе закружило белую суку. Задрав чёрную шишку носа, осязала она верховым чутьём запах прелой шкуры старого лося, недавно ещё, в предрассветном мареве объедавшего веточки молодой осинки, свежий глухаринный помёт под корабельной сосной, в кроне которой царь-птица пощипывала нежные почки, а где-то в глухой чащобе слышала она пересвист рябчихи, призывающей бесполового своего кавалера; причувствовала торопливый ход свиньи с приплодом, прелый запах прошлогоднего муравейника, который раскапывает оголодавший за зиму медведь. За кем пошлет её хозяин? Какую добычу найти? Чуткий нос, острый слух, зоркий глаз Бьянки мог безошибочно привести его в нужное место, к нужному зверю. Но хозяин прошёл по заснеженной, за всю зиму не топтанной человеком просеке метров не более ста. Остановился, вытащил из внутреннего кармашка пищик, сооружённый им самодельно из заячьей косточки несколько лет тому назад. “Пять, пять тетерева...” — просвистел дядя Николай знакомому каждому русскому охотнику приманку, на которую дурной петушок, особенно по весне, мчит, что называется, сломя голову через чащобу, забывая даже про вновь обрётённую подругу, мчит, полный страсти к ненавистному сопернику, с которым должен обязательно сразиться и победить. Многих, да и то уже на исходе брачного сезона, когда рябки соединятся в пары, удаётся остановить благоразумной курочке. Остальные воюки, как правило, гибнут, сражённые свинцовой “семёркой” наповал, несмотря на то, что охота эта изувёрская весной запрещена. Ведь рябчик, особенно в состоянии полового аффекта, бесстрашен и прётся напролом. Бывает, что садится на ветку чуть ли не над головой охотника. Да ещё и кудахчет, сердится. Такой же герой, услышала Бьянка, ринулся из чащобы на предательский подсвист дяди Николая, но, не долетев метров пятидесяти, вспорхнул на кряжистую сосну, прижался. Одна только головка с брусничной алой бровкой торчит из-за ствола. Слушает рябок и воинственный посвист дяди Николая, и настойчивый призыв избранницы, что зовёт его к себе, требует возвращения. Был бы петушок поумней, спорхнул бы к земле да ушёл низом под бочок к подруге. Никто бы и стрелять такого не стал. Похвалил бы даже! Но если ты горяч, безрассуден, если прёшься на рожон супротив хитрого опытного мужика с двустволкой, грош тебе цена. И фунт презрения. Завершится жизнь твоя удалая в супе с лапшой. Вдогонку за рюмахой злого домашнего самогона.

За час с небольшим нашлёпал дядя Николай целый выводок таких хребцов. Брезентовый рюкзачишко за его спиной поправился животом, округлился. Хотел было домой поворачивать, но по плешивому косогорчику на той стороне балки, поросшей прошлогодним камышом, метнулась и исчезла в тальнике горбатая тень кабана. Стрелять в него было и поздно, и далеко, и бессмысленно.

— Бьянка, — позвал дядя Николай, не отводя глаз от вздрагивающих карминовых веток, — ну-ка, взять его, фас!

Да та и сама, прежде хозяина, заметила зверя. От холки до хвоста по позвоночнику словно морозом охолонуло. И лишь только позади раздался приказ, ринулась за кабаном. Балку пересекла полукружьем, посуху, обходя

снежные завалы, легко поднялась по косогору и упёрлась в заросли низкорослого тальника, жухлого бурьяна и мокрой осоки на весенней лыве, по которой и подался зверь в сторону тёмного, дремучего ельника. Но лишь напала на след, тут же поняла, что зверь не один: вслед за ним семят четыре маленьких следка поросячьего выводка. А с ними мать и нерасторопнее, и злей.

Бьянка шла по свежему следу упёрто, молча, местами переходя на галоп, то опуская голову к влажной осоке, то поднимая взгляд на хлёткие ветки тальника. Запах дикого зверя был повсюду. Он оглушал её рыжей шерстинкой, зацепившейся за колючку татарника, и ошмётком вспененной слюны из материнской пасти, острым запахом поросячьей мочи. Бьянке оставалось только двигаться следом, с каждым прыжком и каждым шагом погружаясь в эти запахи всё глубже, все дальше. У ельника она, наконец, увидела горбатую спину свиньи, покрытую шерстью, облепленную по бокам осклизлой грязью и крошечном сухой полыни, а вскоре и семящих следом “матросиков” — четырёх сеголеток в шкурках полосатого, бурундучьего окраса. Только теперь из воспалённой её гортани раздался звонкий, короткий взвизг, означавший для охотника, что добыча достигнута, можно идти на голос, заряжая ружьё картечью, а может, даже и пулюю.

Будь она не одна, а хотя бы ещё какая натасканная собачонка, можно было бы попробовать остановить кабаниху, облаивая и атакая с разных сторон да цапая попеременно за гачи. Так можно свинью долго держать, силы изматывать, пускать кровь. А там и хозяин подоспеет. Жахнет дулетом тридцать три грамма свинца системы Полева прямо под лопатку ошалевшего, загнанного зверя.

Но другой собаки Бьянке в подмогу не было. стало быть, и свинью совсем под центнер ей никак не остановить. Но отбить сеголетка, который бежал за матерью последним и, кажется, начинал выбиваться из сил по причине своей слабости, а может, и какой-то физической ущербности, ничто не мешало. Повинуясь инстинктивному хищническому приёму, Бьянка сошла с тропы и прибавила рыси, заходя справа, чтобы отсесть “матросика” от остальных и увести в сторону от выводка. Важно делать это бесшумно, быстро, не привлекая внимания матери, не оставляя ей шансов ринуться на помощь детёнышу, а если это и произойдёт, не оставляя тому шансов на выживание. Отсесть и быстро убить — вот что предстояло сделать Бьянке. Несколькими длинными прыжками настигла она “матросика”, но, не хватая за гачи, обогнала и, не оборачиваясь, побежала вслед за выводком, понемногу сбавляя ход. И лишь когда тяжёлое тело свиньи с треском вломилось в чащобу ельника, где из сухостоя, замшелых кокор, грузно нависающих выскирей даже самый проворный и сильный зверь выкарабкается не сразу, лишь тогда обернулась Бьянка назад и в нескольких метрах позади себя увидела “матросика”. И ощерила зубы. Почуяв беду, детёныш заверещал, рванулся было в сторону, к кустам ивняка, однако собака опередила его, сбила с ног, повалила в скользкую осоку и вонзилась зубами в тёплую, вибрирующую криком глотку. И крепко прижала, пока визг не сделался тише. Она давила горло, захлёбываясь пульсирующей свиной кровью, чувствуя, как под её клыками ломается и шипит последними вздохом тонкая трахея, а под ребрами всё слабее бьются, пытаясь высвободиться, острые копытца сеголетка, ощущая сердцем, каждой шерстинкой неостановимое движение смерти. Через несколько секунд всё было кончено. Отфыркиваясь от кровавой щетины “матросика”, стояла она возле его тельца — горячего, вздрагивающего ознобом агонии, когда в ельнике послышался бешеный, нарастающий треск. А через мгновение появилась мать, чёрная от ярости. Бьянка не стала ждать, пока подслеповатая по природе своей кабаниха заметит её возле убитого детёныша. И потому ринулась обратно, к месту, где оставила дядю Николая.

А тот и сам уже спешил ей навстречу с ружьишком наперевес, предусмотрительно зарядив его в один ствол пулей Полева, в другой — картечью. Свинью он тоже заметил. И собаку свою белую, в свежей брусничной крови. И ход её здоровый, живой, означавший, что она, слава Богу, не ранена и, возможно, не покалечена сильно. Кабаниха, рванувшая было следом за

лайкой, возле растерзанного своего детёныша остолбенела, принялась обнюхивать холодеющее тельце. Грохнул выстрел. Мать обречённо хрюкнула, поднимая к небу влажный, в комках грязи и древесной трухи пятак и, раз-вернувшись, подалась к спасительной чащобе, на закрайке которой ждали её оставшиеся дети. Новый выстрел вдогонку не заставил её прибавить шагу. Старая свинья знала, что охотник с собакой не станет её убивать. Им достаточно будет её мертвого сына.

— Жива? — спросил дядя Николай, лишь только лайка добежала до него с улыбкой на окровавленной морде и поднялась на задние лапы, цепляясь когтями за хозяйскую телогрейку. Крепкими, словно ореховые сучки, пальцами тот внимательно прощупал её ребра, живот, лапу и голову и, ничего, кроме мелких сеадин и синяков, не обнаружив, с любовью потрепал лайку по муфточке и по холке: — Ну, вот и слава Те, Господи! А теперьча кажика свой трофей, Бьянка.

Подойдя к задавленному сеголетку, дядя Николай долго качал головой да довольно поцокивал да нахваливал:

— С такой собакой и ружья не надобно! Прав был Ванька насчёт тебя, Царствие ему небесное. Не собака — талант! Чапаев! Эх, коль бы не Испания эта, лешак её дери, мы бы с тобой, Бьянка, тут всех свиней передушили! И борбов на реке. И мишек. Но ничё! Вернись, осенью мы с тобой устроим октябрьскую революцию.

Собака слушала хозяйские прожекты и похвалы со вниманием, не отводя глаз. Но ей уже не терпелось рвануть в галоп закрайком поля, поднять из схрона затаившегося зверя, гнать под выстрел хозяина или задрать собственными зубами. Она уже поскуливать начала и передними лапами перебирать. Но дядя Николай поднял мёртвого сеголетка за задние лапы и прикинул, что поросёнок добрый, на семь кило, пожалуй, потянет. Упихал его в сидор, отчего мешок обвис беременным брюхом, и не раз крякнул, напяливая его поверх телогрейки.

— Конец охоте, — объявил дядя Николай, — идем домой, Бьянка!

15

Бьянка даже не прикоснулась к двум жёлтым, словно бивень слона, берцовым мостолыгам, которыми наградил её за удачную охоту хозяин. Она лежала на старой телогрейке, подставив улыбающуюся морду светилу, которое робко проглядывало из-под низких облаков, и чувствовала себя совершенно счастливой. Дети её, уже подростки, играли, покусывали друг друга, боролись за доступ к горячим, огрубевшим за время кормления сосцам, всё ещё полным молока и живительной материнской силы.

Но другая сила — первозданной, древней её природы, до поры дремавшая в крови, — заявляла о себе после недавней охоты, разбуженная ружейными выстрелами, вкусом крови из разодранного горла “матросика”, запахом жжёного пороха, чавкающей болотистой влагой под лапами, заявляла о себе охотничья страсть, что одна способна питать тело её и душу необузданной дерзостью и мощью.

Пегий её первенец, не отходивший от матери с тех пор, как она возвратилась с охоты, залиvisto потягивая, принялся гонять по двору очнувшуюся от спячки серую жабёнку, что, на беду свою, выползла в дурном настроении из проталины под кустом крыжовника. Медленно, в какой-то даже задумчивости перебирала она затёкшими лапками, хлопала выпученными оранжевыми глазами, выбираясь из объятий долгого зимнего сна, зевала широкой, во всю морду, пастью, не обращая внимания на потягивания и взбрыкивания юного кобелишки. Тот не отставал, преследовал луноглазую, облаивал совсем по-охотничьи и даже пытался цапнуть несчастную за раздувающиеся пупырчатые закорки. Путь к отступлению земноводной проходил как раз мимо хозяйской скотобойни, где теперь трапезничала Дамка, жадно, по-стариковски чавкая и давясь тугим кабаньим сухожилием. Жабёнку она, по причине слабости глаз, не заметила, но звонкого кобелька, что подступался к её добыче всё ближе, предупредила злобным

рыком, оскалом жёлтых зубов и вздёрнутыми брылями, перепачканными сукровицей. А щенок, кажется, не слышал предупреждения, пушистым, игривым клубком носился вокруг забавной животинки, невинно радуясь своему открытию. Не осёкся и тогда, когда старая сука, опустив морду к окровавленным ошмёткам и неотрывно наблюдая за малышом колючим взглядом, рычала уже громко, угрожающе. А щенок в азарте игры беспечно поравнялся с Дамкой и по неосмотрительности заехал лапкой в скользкую её добычу. И тут Дамка с остервенелым рыком, от которого вспорхнула стайка щеглов из зарослей сухого репья, вцепилась в несчастного кобелька. Бросок её был стремителен, беспощаден. Повалив щенка на землю, всего на несколько секунд сдвинула она его хрупкое, как у птички, горло, отчего пронзительный визг малыша тут же иссяк, а тельце, хотя и продолжало перебирать лапками, жалобно поскуливать, подняться уже не могло. Краем глаза старая сука видела, как вскочила готовая броситься на помощь щенку мать, как пытается разглядеть происходящее из-за ситцевой занавески недовольный собачьим визгом хозяин, как уносится на край пустоши стайка испуганных щеглов. Вслед за ними припустила трусливо и старая сука. Она бежала по полю среди сухих трубок борщевника, хлёстких веток ивы и тальника, колючих зарослей прошлогоднего репья и чертополоха. Среди гниющих брёвен и досок, оставшихся от некогда богатых, процветавших крестьянских домов, лет двадцать назад порушенных, односельчанами разграбленных и забытых.

Дамка ждала услышать позади горячее дыхание белой суки, а вслед за тем могучий удар клыков по ляжке, по холке или горлу, удар, от которого ей, старой, уже никогда не подняться, в лучшем случае, влачить жалкую юдоль инвалида. Но позади было тихо. Только мягкий ветерок, зародившийся далеко-далеко, в чреве Эгейского моря, с любовью оглаживал скелеты русского сухостоя.

Бьянка не стала преследовать старую суку. Ходила возле сына, поскуливая, прислушиваясь к учащённому его дыханию. Наклонялась, подталкивала то горячим носом, то передней лапой, словно бы помогая ему подняться, перевернуться. Но малыш только вздрагивал лапками и на прикосновения матери не отзывался. Шёрстка его, перепачканная кровью, грязью, дворовым мусором, увядала, дыхание делалось реже, а на глаза, минуты назад излучавшие радость жизни, наполнила мутная пелена. В последний раз вдохнул щенок терпкую сладость весны и, наконец, затих.

Бьянка не сразу поняла, что он мёртв. Ходила крутами, упрямо тормозила подняться, казалось даже, шептала что-то свое, человеческому уху недоступное, покуда, наконец, не почувствовала, как тепло утекает из тела её малыша, надвигается холод, ооченение. Она подтолкнула щенка в последний раз лапой. Подняла голову к небу и завывала. Была она обречённо и надсадно, выплёскивая в низкое небо и мятущихся в небе щеглов всю боль и безбрежное одиночество, которое вдруг нахлынуло на её сердце тяжёлой, беспощадной волной, сжало его и не отпускало, покуда невидимые собачьи слёзы катились из её глаз, покуда раздирающий душу вой оглашал и хозяйский дом, и ближнюю пустошь, и дальний лес, в котором даже самая крохотная пичужка, даже царственный сохатый вдруг замерли и содрогнулись от этого животного стога, от этого вечного звука скорби, что вырывается из груди матери, потерявшей единственного сына. И будто слышало этот стон небо. Загустело асфальтовыми тучами. Озарилось всполохом молнии. Пролилось вдруг крупным быстротечным дождём.

Так бывает всегда: от весеннего дождя земля исполняется вдруг забытой за зиму чистотой, дышит озоном, радостью, божественной силой, вновь и вновь утверждая вечную победу жизни над смертью.

Весь день и всю ночь Бьянка пролежала возле мёртвого сына. Утром запах тронутый тлением плоти привлёк стаи каллифорид, слетевшихся к скотобойне в заботах о продолжении рода. Они откладывали яйца в открытых глазах щенка, заползали в приоткрытую пасть и анальное отверстие, жужжали, ссорясь в борьбе за лучшее место, и снова взлетали, снова кружились над мёртвым тельцем.

Обеспокоенный нашествием падальщиков, дядя Николай наскоро выкопал сапёрной лопаткой ямку позади покосившегося в бурьянах штакетника. Он закопал там уже немало погибшей мелкой живности. Теперь снёс туда и Пегого. Засыпал землёй, усердно притоптал сапогами, тихонько насвистывая “Историю любви”.

Дамка в тот вечер домой не вернулась. И на следующий день миска её возле бани осталась пуста. И через два дня. Всю разорванную нашёл её через неделю Костя Космонавт, промышлявший соком в ближней берёзовой роще, за пустошью. Должно быть, волк задрал старую, решили люди.

16

Провожали Рябинина на чужбину всем “обществом”.

Поскрипывая механической ногой в яловом офицерском сапоге, первым спозаранку заявился, как и положено по местному негласному этикету, глава сельской администрации Август Карлович Веттин — мужичок во всех смыслах боевой, прошедший две пандшерские операции в Афганистане, лишившийся левой ноги и мордой пообгоревший, зато медалями солдатскими награждённый, среди которых особо ценил серебряную “За отвагу”. При явной внешней инвалидности Август Карлович никой ущербности в себе не ощущал. После войны женился на чернобровой узбечке Альбине, нарожал с ней пятерых ребятишек, в перерывах без устали взбадривая неспешную, унылую жизнь односельчан. То выстроит возле сельсовета летний кинотеатр, чтобы глядеть душными черёмуховыми вечерами кино про любовь, то навезёт с окрестных полей пудовых валунов — устроить из них к майским праздникам мемориал погибшим односельчанам; или затеет среди народа пропаганду здорового образа жизни по методу “русского йога” Порфирия Иванова, предлагавшего, между прочим, хождение нагишом по сугробам и ежедневное обливание ледяной водой. За эту неуёмность и шепоту односельчане пропёрли его сперва в народные избранники, а затем доверили быть сельским головой. Август Карлович воспринимал такое избрание издевательством, поскольку на полном серьёзе считал себя наследником рода Каролингов, короля Саксонии, маркграфа Мейсена, курфюрста Священной Римской империи и герцога Варшавского, императора Индии и царя Болгарии. А поскольку ни Болгарии, ни, тем более, Индии ему никто не предлагал, выпало ему довольствоваться деревней Астахино Шенкурского уезда Архангельской области.

Под мышкой сельский голова держал папку вишнёвого дерматина с почётной грамотой, им же самим и подписанной, где отмечалось, что её обладатель — Николай Игнатьевич Рябинин — отличный хозяйственник, передовик сельского производства, русский патриот и член местной ячейки партии либерал-демократов. К грамоте прилагалось официальное письмо на бланке, где любой испанской деревне, в которой объявится сеньор Рябинин, предлагалось стать побратимом Астахино со всеми вытекающими последствиями, как то: проведением фестивалей, обменом делегациями, продажей леса за их маслами и созданием совместного предприятия по переработке таёжной клюквы. Веттин не сомневался, что предприимчивые испанцы ухватятся за его предложения. И потекут в Астахино миллионы! В той же папке лежали сто долларов США, которые Веттин обменял в кандагарском дукане ещё в военную пору, хранил годами, а теперь нёс их с просьбой приобрести на них для него *la pata negra** и *queso manchego*** — легендарную пищу испанских идальго, о которой он бредил с юношеских лет, начитавшись приключений Дон Кихота Ламанчского.

Следом за сельским головой спешил на узнаваемый запах перегоняемой браги местный капиталист, владелец лесопилки Харитошка, которому и самому бы хотелось прикоснуться сердцем и лапами загребущими к испанскому капиталу, да тот всё не шёл отчего-то, уплывал в чужие руки. Обидно

* *La pata negra* (исп.) — чёрная лапа — сорт испанского хамона.

** *Queso Manchego* (исп.) — сорт сыра из провинции Ла Манча.

было Харитошке. Зависть сушила его уже два месяца, а в последнюю неделю и вовсе навалилась на него пьяной бабой. Не продохнуть! Воспалённое сознание буржуина строило коварные планы: от кражи у Николая заграничного паспорта до совращения его жены Ольги, а может, даже и бандитского разбоя по возвращении наследника в родные края. Между тем, христианская его душа кручинилась от этих дурных помыслов, а сердце стремилось к памяtnому с малолетства тёмными бревнами дому, возле которого они вместе с Колькой отливали в глине свинцовые грузила, чинили сломанный “школьник”, бились в кровь с пацанами из соседней Верхопаденьги и встречали рассветы. Да и чистый солодовый дух фирменного рябининского самогона щекал чувственные рецепторы Харитошки, возвещая весёлый, неуёмный праздник, на который даже и кающийся в грехах русский человек откликается с удовольствием и отдаётся ему без остатка. Словно в последний раз.

Вот и директор школы Лев Николаевич Толстой оказался на повороте в мареве сизого дыма и жёлтой пыли, поднятой каким-то пацанёнком на трескучем, вонявом мопеде. На нём светлая полотняная куртка чуть не до колен, перепоясанная узким пояском из “крокодиловой” кожи; разношенная кирза, в которую были заправлены тёмно-синие ментовские портки, да парусиновая фуражка с широким околышем, из-под которого глядело грубо вылепленное лицо с кустистыми седыми бровями, взлохмаченной пегой бородой и мясистым носом, похожим на индюшачий пьндык, — всё это делало директора неотличимым от классика русской литературы. Поговаривали, что на это поразительное сходство Льву Николаевичу не раз пеняли в районном центре народного образования, предлагали поменять фамилию или хотя бы имя с отчеством, на худой конец, побриться, что ли, дабы не компрометировать доброе имя автора “Крейцеровой сонаты”. А то ведь как получалось? На каждом совещании по поводу ли худой успеваемости среди деревенской детворы, или несостоявшегося конкурса патристических сочинений, а то и малой зарплаты учителям всякий раз мусолилось да поминалось недобрым словом родное русскому человеку имя. На эти упрёки Лев Николаевич отвечал всякий раз с убеждённостью народовольца: “Сменю я, положим, фамилию или даже побреюсь вам всем на потеху. Но с мыслями-то что делать?”

Вслед за мыслителем земли русской подрулила к рябининскому подворью “буханка” запылённая, не по одному разу крашеная-перекрашенная, но всё одно уже ржавыми пятнами, словно рыжими струпами, пошедшая. Из транспорта сего, начальственно попыхивая сигаретой, вылез сухой, ядовитый Мотя Едомский в полинявшей офицерской рубашке, с жёсткой щёткой седяющих усов на морде и хитрым взглядом, ожидающим от встречи с каждым человеком лишь коварного подвоха. Супружница его Ангелина теперь выступала позади него этакой доброй гусыней, претерпевшей от муженька и годы беспробудной пьянки и побой не только чугунным кулаком в зубы, но и дрыном сосновым, и даже обухом топора, и измены его, вовсе не тайные, а явные, в их же собственном доме, на её же постели! Претерпевшая всё это, единственной жизнью своей за всё заплатившая, шкурой, сединой, хребтом, душой своею, и от преисподни этой не обезумевшая, но, наоборот, будто бы очистившаяся, исполненная тихого внутреннего света, радости и любви.

А следом уже и Любаша спешит в неотступном сопровождении кобелька Чурки. Личико её чистое и лучистое от скорого хода да от солнышка порозовело, источало утреннюю свежесть и благодать. Даже подмышки её в светлых курчавых волосках, струйка пота, стекающая по шее из-под туго повязанной бумазейной косынки с петухами, пахли сладко, пьяно. Муженёк её, ветеран кавказской войны, уже две недели как лечился от последствий контузии и пьянства в санатории МВД.

Последним явился местная достопримечательность — Костя Космонавт, Христа ради юродивый. Пришёл он в Астахино пару лет тому назад из далёкой Ярославской области. Шёл оттуда, говорят, босиком, с брезентовым рюкзаком за плечами да с липовой палкой в руках, к которой были у него привязаны пустые консервные банки и алюминиевый чайничек с погнутым носиком. С этим посохом да с грохотом железным передвигался Костя по русской земле, возвещая встречным правду о стране, её правителях да

о грядущем Страшном судилище. Был лохмат, не чёсан, грязен, но, ко всеобщему изумлению, зловония никакого при этом ни источал, а даже наоборот: пахло от Кости свежим зефиром. Глядел он на мир единственным лазерным чистым глазом. Другой был утерян, а веки над ним защиты суровой сапожной дратвой внахлёт. Зубов у Кости тоже почти не осталось, поскольку имел он странную привычку собственноручно выдирать их плоскозубцами в подарок односельчанам, страдающим от зубной боли. Некоторые даже изготовили из Костиных зубов амулеты, носили их вместе с нателным крестом и верили в их чудодейственные силы. На голой груди юродивого, едва прикрытой драным пиджаком фирмы “бриони”, виднелся наколотый синими чернилами лик первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина в скафандре, отчего и привязалось к Косте его необычное прозвище. Бывает, изготовятся генералы к запуску ракеты в ближнем Плесецке, а Костя-Космонавт уже об этом секретном запуске откуда-то знает, на карачках взбирается на Кольвановский утёс, чтобы с вершины его следить за призрачным огоньком, уносящимся в чёрный космос, осеять огонёк многократно крестным знаменем, а вдогонку непременно слать ещё и воздушный поцелуй. Словно крестное знамение посылал вслед за ракетой. Оттого они, видать, в ту пору и не падали.

Говорил Костя мало, зато плакал часто. Слезы его лились из выцветшего глаза иногда без всякой причины, скатывались по руслу морщин в пегую, похожую на паклю, бороду, но не исчезали в ней, а скатывались дальше на грудь, орошая солью и влагой старую татуировку. Тогда казалось, плачут оба: Костя вместе с Гагариным. Бабы утверждали, что плачет Костя за людские грехи, за беспутную жизнь, в которой пребывает нынче Россия.

С дребезгом железным добрёл юродивый до избы, где вовсю гужевался, грохотал лавками, позвякивал стеклом бутылочным приглашённый народ, замер столбом супротив входной двери и, изображая лицом безумного библейского Саула, произнёс: “Дом незаконных разорится, а жилище праведных процветёт!”

Ответом ему была отворившаяся дверь и запыхавшаяся, взмокшая от духоты хозяйка с ведром, полным помоев.

— И ты, сердешный, пожаловал, — улыбнулась Ольга юродивому, — ну, так входи, раз пришёл. Неча в дверях-то ошиваться!

Пропустила юродивого в дом и лишь затем вышла на крыльцо, чтоб с размаха плеснуть помой подалее. С осторожностью ступая по половицам, юродивый шёл теперь в горницу, но, заметив в сенях свернувшуюся Бьянку со щенком, опустился на колени, протянул руку, коснулся её тёплой шерсти. Собака прижмурилась от удовольствия. Но тут же открыла один глаз, чтобы внимательней посмотреть на Костю, чей запах, конечно, знала, но впервые соприкасалась с ним близко, а ещё чтобы проследить за его рукой, которая дотронулась и до её дочери. Она чувствовала доброту этого человека, нежное тепло, которым он окружил её, словно мать в далёком городском детстве, каким и она окружала теперь своего ребёнка. А ещё, чувствовала Бьянка, слёзы из единственного глаза Кости Космонавта кропили её лапу, шею, даже морду.

— Оставь её, Костя, — послышался позади голос хозяйки, — она у нас теперь в страдании. Ступай в горницу.

Народ там уже расселся по лавкам вокруг длинного стола, уставленного чистой посудой и веяческой снедью. Лоснилась жирным розовым боком малосольная сёмга, забитая острогою дяди Николая в осеннюю путину на Паденьге, чуть ниже Астахино. Крепкие солёные огурцы вперемежку с мокрым глянцем помидор в глиняных мисках источали терпкий запах смородиновых почек и вишневого листа. Прихваченные морозцем, нежные лепестки домашнего сала с тонкими бордовыми прожилками присыпаны крупной солью и толчёным чесноком. В довоенной ещё, доставшейся от покойной матери в наследство Николаю нарядной супнице Ломоносовского фарфорового завода — сунчик из рябчиков с вермишелью, обок — пирамиды напечённых Ольгой горячих пирожков с лесными грибами, ливером, яйцом с зелёным луком, само собой, с капустой и картофельным пюре. Доставленная специально из Архангельска знакомым дальнбойщиком жирная сельдь-трёхлетка, отливающая серебром. Дубовые плоски с мелкими рыжиками в сметане,

осклизкими маслятами с крошёным лучком, боровичками, маринованными с гвоздикой, душистым перцем и лаврушкой. И целые ушаты капусты, квашенной для остроты с клюквой, а для сладости — с антоновкой. Не говоря уже о чёрной редьке в жирной сметане, под свежим подсолнучовым маслом, пареной с мёдом. Впрочем, встречались за этим столом и яства совсем экзотические. Навроде томлёных щучьих голов с чесноком, разварных лосиных щёчек, заячьих котлет да селезней, фаршированных кроншнепами с дикой малиной... Венчала этот русский гастрономический Версаль дымящаяся чугунная жаровня, над которой медленно поворачивался боками к огню убитый намедни кабанчик. Жаровню эту чудесную редкий умелец дядя Николай оснастил электромотором от стиральной машины, спрятал его под стол, соединив с вертелом кожаным приводом.

Что до выпивки, то уж этого добра на прощальном обеде хватало с избытком. Одно самогона сортов несколько — от чистейшего, словно девичья слеза, тройной перегонки да профильтрованного на берёзовых углях до тёмного, на кедровой шишке настоянного и сладкого — на вишнях и чернике. Да ещё всяких настоек: на дягили, берёзовой почке, полыни, померанце... Но особой известностью у гостей пользовался самогон, который хозяин, видать, по причине его значимости и кропотливости изготовления назвал собственным именем: “Николай”. Курил он его целую неделю, рецепт держал в секрете, и выходил у него, нет, не самогон, а какое-то великолепие, восторг души, от которого всё твоё нутро наполняло мягкое тепло, а во рту и на языке ещё долго сохранялось блаженство запахов, вкусов и переживаний, которые забыть невозможно. Так что упивался астахинский народ “Николаем” вусмерть, с великой радостью.

Бьянка наблюдала за происходящим из приоткрытых в сени дверей. Она не знала, что видит хозяина в последний раз, что жизнь её скоро изменится, равно как и жизнь иных веселящихся в доме людей. С каждой следующей рюмкой гости становились красней, громогласней, покуда, наконец, не превратились в единое, слитно гудящее хмельное скопище. А время подошло, дружно понурили головы, загрузили о своей тяжкой доле, роняя слёзы в стаканы с самогоном. Тогда только слаженным хором, с высокими женскими подголосками, запели протяжные, от стариков ещё памятные песни, ну, и народные конечно.

Бьянка пьяных не любила. Не любила исходящего от них запаха перегорелого самогона вперемешку с луковым духом и селёдкой. Не любила человеческих глаз, в которых не видно улыбки или радости, или даже пугающей злости, а только тяжёлый, мёртвый туман. Не любила бессмысленных, тем и опасных движений и звуков — их издавал пьяный, приближаясь не только к животине, но и к такому же, как он, человеку. Получить от пьяного кованым сапогом в бок или оглоблей по хребтине — обычное дело. А потому, только лишь наполнилась рябининская изба скандальным, пьяным гулом, Бьянка поднялась со старой телогрейки в сенях и вышла во двор. Следом — Костя Космонавт.

В пыли возле штакетника, увитого девичьим виноградом, — благодатная тень, в которой нежилась беззаботная юная сучонка Булка. Мать опустилась рядом с нею, в ту же тёплую пыль, лизнула белую мордочку горячим языком и положила голову на вытянутые лапы, позволяя своему ребёнку дурачиться, даже прикусывать её остренькими молочными зубками. Костя Космонавт примостился рядом, на старинной, лет сто назад вырубленной дубовой скамье, порезанной именами родни и знакомых, за долгий век меченной разрушительной работой древоточцев, снегопадов, жары обжигающей. Посох свой Костя примостил к штакетнику, отвязал чайник и наполнил из него колодезной водицей жестянку с выцветшей нащёпкой “Сайра”. Поставил рядом с собакой. Бьянке пить не хотелось, она двинула банку ближе к дочери. Та набросилась на влагу с жадностью. Костя меж тем с пронзительной грустью взирал на собак, качал седой головой. И вдруг заговорил:

— Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу

славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится донныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего.

Произносил он эти незнакомые и загадочные слова тихим голосом, который при этом звучал, словно торжественный гимн, словно чарующее заклинание, от которого сердце Бьянки пришло в необычайное возбуждение, отчего она тут же завывала, как бы подпевая юродивому. Вслед за ней тонким фальцетом завыл и её щенок.

— Псалмопевцы вы мои милые, — улыбнулся в бороду Костя, и лицо его озарилось светом, благодатью, идущей из глубин его чистой души. — Всякое дыхание да славит Господа! И то: идём со мною, собачки? Велика земля наша, да бестолкова, темна, душою озлоблена. Вот мы и отдадим землю нашей любовь. Я — человечью, свою, ты — тварную, собачью.

Как и вчера, как и тысячу, и даже миллион лет назад клонился к закату раскалённый шар солнца. Лёгкий ветерок с Паденьги наносил запах илистых камней, хариусов, ряски, прибрежных кустиков пижмы. Печальные голоса кроншнепов и чибисов, кружащихся над косогором, становились тише, тише, и даже зорьянка перестала тенькать в ивах. В столбах золотистой пыли, в клубах пара, исходящего от горячих крупов и тугого, полного молоком вымени, возвращались с пастбищ коровы, сопровождаемые юным пастушком в отцовской фуфайке, с вихрами нестриженных волос цвета прошлогодней соломы. Где-то транзистор с лопнувшей мембраной динамика исполнял арию Ленского дрожащим, но всё равно знакомым голосом Лемешева. Текст телевизионного диктора в другом доме возвещал о сокрушительной победе российских гимнасток. Где-то рыдала женщина.

Подходил к концу ещё один, самый обычный день человеческого бытия, в который вместились тысячи смертей и новых жизней, неисчислимое число людских трагедий и радостей, предательств, измен, свершений и побед. Среди этого необъятного человеческого моря незаметно и ничего не значаще, словно пыль, терялась жизнь странного юродствующего человека и двух собак, лежащих у его голых ступней. Мимо них, пошатываясь, а то и падая, тянулись по домам гости. Последним вышел на порог хозяин. Постоял, облокотившись о дверной косяк, и тихо, даже как-то заговорщически посмеиваясь, направился к Косте. Сел рядом, обнял за плечи и, обдавая лицо блаженного водочным перегаром, прошептал: “Прощай, Родина!” Резко обернулся, словно кто его наотмашь ударил, ткнулся лицом в ладони. И зарыдал горько.

17

Отцвёл май, июнь налился соком молодой травы, украсился завязью плодов, в земном пару и мареве зрел будущий крестьянский урожай — прокорм на скорую, лютую зиму. С тех пор, как уехал дядя Николай из Астахино, он позвонил всего-то разочек из таксофона мадридского аэропорта Барахас, который доносил его голос до родного дома с такими искажениями и мутациями, что казалось, звонит он из могилы, из самого, прости Господи, загробного мира. Ольга не узнала его вначале, а поверив, что это именно он, Николай, испугалась больше всего, что тратит муж на разговоры с нею драгоценную валюту. А уж потом только от того, что говорит он голосом не здешним. Однако говорил он слова понятные. О том, что долетел благополучно, что самолёт ему понравился, особенно красивые стюардессы в одинаковой форме и с платочками на тонких шейках, а ещё — дармовая выпивка и харчи. О том, что встретила его душевно переводчица по имени Лола, нанятая адвокатской конторой для сопровождения нотариальных услуг и дяди Николая вместе с ними. Что у Лолы этой бабушка из наших, коминтерновских, родилась и воспитывалась в Советском Союзе, но, лишь только испанским детям разрешили вернуться на родину, умчалась туда одной из первых, продав родительскую квартиру и часть бабушкиного архива с подлинными автографами Ленина, Троцкого, Бухарина, Долорес Ибаррури и Пабло Пикассо. По словам Рябинина, бабёнка эта, Лола, ему не понравилась. Однако тренированная женская интуиция подсказывала Ольге, что всё

обстоит с точностью до наоборот, что неведомая Лола, которая теперь будет сопровождать её мужа по незнакомой стране, та ещё лярва. Но вида не показала. Сказала только: “Ты там поосторожнее. Мало ли чё. Всё одно — чужбина”. В ту же секунду на том конце провода что-то замкнуло, тренькнуло и отозвалось короткими, словно сердечный перестук, гудками. Ольга звала мужа ещё, раз десять окликала по имени, но ответом были только чужие гудки. Повесив трубку, она долго сидела на табуретке возле алого, как кровь, телефонного аппарата, думала про своего Николая. И сердце её саднило.

И чем больше дней проходило с того их разговора, чем больше ночей проводила она в одиночестве на своей кровати напротив потухших лампад под образами, чем дольше вглядывалась в лики Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца, тем тяжелее, муторнее становилось на душе. Словно кто буравил её, горемычную.

Порой казалось Ольге (и телевизор её в этих страстях поддерживал), что муж её, по неопытности и незнанию тамошнего языка, угодил в сети испанских работорговцев. Порой грезился он ей весь переломанный, на больничной койке, с трубками и проводами, по которым втекает в него кровь и мутная жидкость из капельницы. Но иногда она видела его на берегу моря, каким показывает райскую жизнь русское телевидение: в окружении молодых бабёнок с бесстыдно выпяченными титьками, с зелёной жидкостью в потных бокалах, в окружении фимиамов и дыма марихуаны. Эти мысли она старательно гнала прочь, утешая себя тем, что Николай её уже не молод, местами даже плешив, фигурою неказист да речью косноязычен. Такие девкам молодым не нравятся. Да и вера его православная не позволит ему такого бесстыдства. Словом, Ольга готова была поверить в любую причину мужниного молчания, включая измену Родине, инвалидность, рабство и даже внезапную гибель, кроме паскудства прелюбодеяния.

Время шло, а от Николая по-прежнему — ни весточки. Чуть ли не каждый Божий день добегала Ольга до почты в ожидании заграничного письма или хотя бы телеграммы. Однако Нюра Собакина всякий раз, вслед за визгом дверной пружины, увидев её на пороге, улыбалась, словно бы извиняясь, и качала головой в рыжих завитушках перманента:

— Нету вам ничего, тётя Оля.

Нюра будто и свою вину чувствовала за отсутствие писем. Ведь это она, Нюра, рассказала Рябининим, как просто теперь отправиться за границу.

Но однажды, уже в июне, числа восьмого, Нюркино лицо осветилось искренней радостью. Она даже подскочила со своего места навстречу Ольге, сжимая в руке широкий лоскут писчей бумаги.

— Телеграмма вам, тётя Оль! Оттуда! И вот ещё — перевод!

У Ольги от этих новостей ноги ослабли, и всю словно обдало жаром. Сердце затрепетало в смятении. Она опустилась на стул и, проведя рукой по волосам, попробовала читать телеграмму. Но как её прочесть, если написана она нерусскими буквами?

— На-ко, Нюра, прочти сама. Что-то я ничё тут не разберу.

— Это транслитерация, — объяснила шибко грамотная ученица штукатурного техникума, — слова-то русские. Только написаны они латиницей. Там у них нет телетайпов с русской клавиатурой.

Ольге эти объяснения сделались теперь ни к чему. Она лишь хотелось услышать слова, которые написал ей, наконец, муженёк пропащий.

“В права наследования вступил, — значилось в телеграмме. — Получил землю, дом и хозяйство. Теперь разбираюсь. Скоро не жди. Управляйся пока сама. Посылаю тебе тысячу долларов. Этого хватит на первое время. Целую. Николай”.

Оторвав взгляд от лоскута писчей бумаги, Нюра посмотрела на Ольгу. Она застыла, как если бы превратилась в кусок льда или гранитную глыбу. Как это — “управляйся сама”? Как — “скоро не жди”? — потерянно повторяла Ольга. Что значит — “на первое время”? Нюра Собакина не умела ответить на эти вопросы, а если бы и умела, всё равно не знала, что сказать. Не зря же говорят, что чужая жизнь — потёмки. Тем более — жизнь заграничная. А Ольгу словно контузило. Раскачивалась вперёд-назад, уставившись

немигающим взглядом в одну точку. Наконец, жалобно взвыла. Нюра метнулась к графине с водой, плеснула в стакан, накапала двадцать четыре капли корвалола и заставила Ольгу выпить. Воздух в почтовом отделении наполнился сладким ароматом чабреца и корня солодки, а Нюра непрестанно гладила ледяную Ольгину руку, утешала её, как умела.

И та начала отходить понемногу: светлеть взглядом, розоветь лицом, вдыхая глубоко, размеренно, понемногу впускать в сознание новую свою жизнь — в изгнании. Наконец, поднялась, выпрямилась и, аккуратно сложив телеграмму, спрятала её в карман василькового платья.

— Где деньги? — спросила отрывисто, жёстко.

Расписалась в квитанции на получение денежного перевода на тысячу долларов США (в пересчёте на родные, деревянные), отправила толстую их пачку в карман вслед за телеграммой и решительно вышла вон.

У дверей её ждала Бьянка: снаружи услышала хозяйкин вой, принялась скрести дверь, пытаясь отворить её лапой. Завидев Ольгу живой и здоровой, торопилась подняться на задние лапы, поцеловать её зарёванное лицо, утешить: “Я — с тобой навсегда! Я люблю тебя”. Но Ольга не внимала собачьей радости, отмахнулась от утешений. Устремилась к своему дому в окружении двух лаек, повизгивающих, заглядывающих ей в глаза.

Так началась новая жизнь простой русской женщины Ольги Андреевны Рябининой — женщины, хоть и не овдовевшей, но нежданно брошенной, забытой, отложенной на потом, что для сердца бабьего — ещё горше, ещё больней. Лишённой опоры, теперь ей приходилось рассчитывать только на себя. На собственные силы, смекалку, сообразительность, на бесценный, наконец, опыт деревенской жизни, позволяющий человеку прокормиться, согреться и выжить в самых невероятных условиях и катаклизмах — будь хоть это, не приведи Господь, ядерная зима или оранжевая революция.

Однако даже в тяжёлом деревенском быту существует разделение труда. Женское дело — управляться со скотиной, поддерживать чистоту в доме да кашеварить, да обстирывать, да шить, да рожать, конечно, ребятишек. А тут пришлось Ольге иной труд осваивать, каким прежде только в мужнином исполнении любовалась. Пришлось колоть дрова, таскать пятидесятикилограммовые фляги с водой, столярничать, орудуя кургузым, но до бритвенной остроты заточенным топориком да долотом, да рубанком; разбираться в премудростях электрических соединений, щитков и трансформаторов, рулить на тракторе “Беларусь”, чтобы вспахать полюшко да борошнить его, да косить траву для скотины. Пришлось учить наизусть молитвы из ветхой Николаевой книжки, поскольку одной-то бабе, да без помощи Божьей, с хозяйством таким нипочём не совладать.

Слава Богу, ещё когда она была пацанкой, отец научил её тракторному вождению, устройству этого замечательного агрегата со всеми его насосами, свечами, акселераторами да сцепами. И вот теперь, поднявшись в кабину трактора да взявшись рукой за промасленные, пыльные рычаги, она вдруг начала вспоминать, что здесь к чему и как устроено. А когда, крутанув несколько раз шнур “погонялки”, услышала знакомый треск работающей магнето, а, переключив бендикс, и размеренный перестук работающего двигателя, сердце её наполнилось детской радостью, которую испытывала, сидя рядом с отцом, высоким и статным мужчиной в промасленной телогрейке и морской фуражке на затылке.

Бьянка тоже почувствовала перемены. Теперь Ольга почти не обращала на неё внимания, забывая не то, чтобы подпитать в миску свежей водички или поласкаться, но даже, порой, и покормить. Если бы Бьянка жила одна, она бы, скорее всего, не обратила на это внимания, однако рядом с ней теперь была Булка, требующая питания, тепла и защиты. Бьянка не сердилась на вечно занятую Ольгу, понимала, что, в отсутствии дяди Николая, она теперь единственная хозяйка в доме, на неё легла вся ответственность, в том числе и за жизнь обеих собак. Не мешало и самой Бьянке подумать о пропитании. В тот год она была энергичной, здоровой и сильной собакой, способной пройти лесом не один десяток километров в поисках пропитания. И вернуться с добычей.

Ранним рассветом, когда корова Маркиза уже нетерпеливо вздыхала в тёплом хлеву, а первые пичужки стайками слетались к берегам Паденьги, чтобы утолить ночную жажду, когда Ольга ещё молилась перед образами в последней надежде вернуть своего блудного мужа, Бьянка, оставив на лежанке спящую дочь, лезла сквозь дыру в штaketнике, торопясь на утреннюю охоту. Лето для такой охоты — самое подходящее время. Ещё не встали на крыло первые выводки боровой дичи, ещё слишком малы и беззащитны детёныши зайцев, лис, енотов да кабанов. Ей и со взрослыми зверями впору было сойтись, однако, что толку: охотника позади тебя нет. Да и тащить из лесу добытого взрослого зверя ей одной было бы не под силу. После нескольких охотничьих рейдов она уже знала, где обитают три выводка лесных курочек, на каком болоте устроила гнездо глухарка с птенцами, на какой полянке грызут осиную кору зайчата. Несколько раз она замечала медведицу с двумя сеголетками, но предусмотрительно обходила их стороной. Почуввав собачий дух, царица русского леса останавливалась, жадно вдыхала верховой запах, фыркала недовольно — и поскорее уводила своих малышей в бурелом.

За каких-нибудь пару часов успевала Бьянка придавить какую-нибудь мелкую животину или нерасторопных слетков. И сразу же, покуда добыча была тёплой, а в иных случаях только раненой или оглушённой, мчалась обратно, в деревню, чтобы положить дичину возле спящего щенка.

Так бы и жили они с хозяйкой Ольгой, каждая в заботах о хлебе насущном, если бы не тот июльский сенокос.

Трава после затяжной дождливой весны да ведрого, жаркого мая уродилась высокой, сочной. Кустились высокие клевера с пожухлыми шапочками соцветий, колыхались в душном мареве метёлки луговой овсяницы, источала над полянами аромат густо зелёная душица. И, словно райские острова, посреди колышущихся на ветру зелёных волн, — васильки, ромашки да полыни. Время сенокоса столетний опыт сельского жителя определял безошибочно: зацветут махонькие кружева богулы, значит, остальная трава поспела, сбросила в ветер и почву семя. Тут то, сразу после Петрова дня, и наступает жаркая, каторжная пора сенокоса. Косить, стоговать, ворошить да волочь сухое сено домой, особенно в прежние, даже и колхозные времена, собирались целыми кланами. Советская власть, по скупости своей и нелюбви к сельскому жителю, отводила сенокосные участки подальше от колхозных угодий, на лесных полянках, где государственная техника не пройдёт, где только вёрткая, словно бритва цирюльника заточенная хозяйская литовка да седьмой бабий пот могут поднять, выдержать четыре росы, высушить, чтобы ушла горечь, и сложить в стога, казалось бы, нехитрый, вовсе дармовой урожай. Потом ещё волочь его на собственной горбине километров не меньше пяти до дому. Да носить на поветь. Прежде, рассчитывая необходимые на зиму запасы сена, говорили как? “На одну ножку, да по промёжку”. Четыре промёжки для козы, скажем, составляли четыреста килограммов сухого сена, а для коровы — уже четыре тонны. Стало быть, именно столько требовалось Ольге накосить сей год для Маркизы, чтобы она зиму пережила.

Дядя Николай справился бы с этой работой недели за две. Для Ольги, которая в прежние годы только ворошила и стоговала сено, теперь, без хозяина, сенокос мог растянуться на месяц. Она бы могла, наверное, нанять помощников среди соседей. Но рассудила про себя здраво, что деньги, присланные Николаем, покуда тратить не станет. Пачку банкнот упрятала в жестяную коробку из-под датского печенья и уложила на самое дно родительского сундука с нехитрым, скопленным стариками за жизнь добром — их платьями, штанами, кофтами да рубахами. Ещё и на амбарный замок заперла. А ключ от замка — на верёвку и в сиську.

Сарай, в котором Рябинин хранил хозяйственный инструмент, от времени, снега и солнечного жара подёрнулся свинцовым налётом, шифер пошёл зелёными разводами плесени, а местами и мха. Но стоило пробраться внутрь и повернуть ручку старого выключателя, как входящему открывался многообразный мир хозяйских увлечений. Здесь можно было увидеть малиновый велюр переходящего красного знамени с гордым профилем Ильича

и большой школьный глобус с выцветшими океанами, континентами и материками. Лодочный мотор “Ветерок” мощностью в десять лошадиных сил, прекративший вспенивать речную воду лет тридцать тому назад. С потолка свисали нейлоновые рыбачьи сети с пенопластовыми поплавками и транспаранты времён горбачёвской “перестройки”, призывающие “ширить гласность” да “углублять демократию”. Ржавый китобойный гарпун соседствовал тут со старыми вологодскими наличниками искусной северной резьбы, а могильный кладбищенский крест со стёршимся именем владельца — с китайской напольной вазой с карминовыми карпами времен династии Цин. Были тут, конечно, и привычные сельскому жителю “струменты”: литовки, берёзовые грабли, каменные жерновцы для зерна, оцинкованные шайки, лопаты различного назначения, вилы да топоры, из которых лучшими считались те, что выковали в пятьдесят третьем году, аккурат в год смерти товарища Сталина. В стальных бочках с пятнами ржи хранился гудрон, отработанное машинное масло да солидол, похожий на сливовый мармелад. В пакетах из толстого пластика держал Рябинин селитру, мочевину и костяную муку для огорода, а в пакетах из двойного крафта — цемент, побелку, алебастр.

Нужный Ольге агрегат прислонился к правой стене сарая, покрылся пылью и паучьими тенётами. Назвался он “косилка сегментная КС-2.1”. Только такой и можно было накосить требуемые четыре тонны сена. Однако, приглядевшись получше, она поняла, что в одиночку ей с этим агрегатом не справиться. Вместе с механизмами, режущим полотном, пальцами и ножами весил он не меньше ста пятидесяти килограмм. А ведь требовалось ещё закрепить косилку на тракторном редукторе.

Всё утро потратила Ольга на то, чтобы решить эту инженерную задачу. Используя лебёдки, домкраты, тракторную тягу, стальные цепи да природную крестьянскую смекалку, она, хотя и умудохалась, как говорится, до крайней степени, однако КС-2.1 к “Беларуси” всё ж подцепила. В трудовом порыве готова была тут же забраться в кабину, чтобы испробовать агрегат в деле, но, прикинув время — жаркое солнце в зените — да объём предстоящих работ, решила начать завтра, по росе.

Утро в тот день выдалось погожее. Солнце только показалось из-за таёжного горизонта, пробовали воздух на вкус первые певчие птахи, с Паденьги поднимался молочный туман, и каждую былинку, травку будто подёрнула ночная испарина. Роса и на облупившейся краске тракторного капота, и на стекле кабины, так что Ольга пришлось даже провести по нему рукавом спецочки. Сквозь протёртое стекло кабины по-особому увидела она своей большой северный дом, где ей теперь придётся встречать одинокую старость, может, и смерть, окинула взглядом широкое нескошенное поле, которое предстоит сегодня скосить, самодельный, крашенный жёлтой краской крест на Никольском храме. Вспомнилось: муж не уставал повторять, что дом и жизнь его соседствуют с храмом его же имени не иначе, как по промыслу Божьему.

Увидела она и Бьянку, мчащуюся ей навстречу, но мысли её были заняты совсем другим. Пора было начинать. Ольга надавила на кнопку массы. Затем выжала педаль сцепления и переключилась с нейтрала на шестую передачу. Трактор с поднятым агрегатом, покачиваясь на ухабах и выбоинах, постукивая и отплёвываясь чёрной гарью отработанной солярки, медленно пополз в сторону поля. Среди нефритовой травяной зелени Ольгин тракторишко издали напоминал лазоревый катер, плывущий по какому-нибудь Саргассову морю. И во всей этой пасторали бытия не звучало ни единой нотки тревоги, ни тени надвигающейся беды.

Перед началом первого прокоса Ольга, перед тем как опустить агрегат сантиметров на двадцать от земли, оглянулась, убеждаясь, что ножи ходят по режущей рамке исправно, ровно, выжала педаль сцепления и на самой нижней передаче помаленьку двинулась вперёд. Теперь она не видела агрегата. Но срезанная трава ложилась стройно, дружно, не касаясь прошлогодней пасуши, оставляя после себя ровное стриженое жнивье. В конце поля Ольга вновь подняла агрегат и, развернувшись, приладившись, пошла на второй прокос. Солнце теперь светило в глаза оранжевым горячим жаром. Пахнувшая остро соком травяная труха, мельтешия мотыльков-однодневков,

что погибнут уже на закате дня, свежий ветерок лета — всё это вызывало в женской душе безотчётное ликование, ощущение полноты жизни, радости бытия, которые даровал Ольге сегодня Господь. Но Ольга плохо понимала промыслительное. Заслоняясь от солнца ладонью с обручальным кольцом, она деловито правила к концу второго прокоса.

Бьянку она не заметила. А та вынырнула из оранжевого марева, неслась к хозяйке — навстречу лязгающим ножам агрегата. В следующее мгновение и поле, и ближний лес, и небо оглушил пронзительный собачий визг, от которого внутри у Ольги всё оборвалось. Она сразу поняла: Бьянка попала под нож. Пробеги она на метр дальше, ничего бы с ней не случилось. Но бежать по стерне было легче, чем в высокой траве, и она бежала по ней до самого её края. Дальше нужно было прыгнуть в высокую траву. И она прыгнула, не замечая лязгающей в траве стали. Задние лапы её угодили между стальными пальцами и движущимися лезвиями. Их отсекло в секунду. Боли Бьянка не почувствовала, по инерции продолжила бег и вдруг упала подкошенная. Странное ощущение потери опоры в ногах вызвало в ней неопишуемый ужас. Вслед нахлынула острая боль, разрывающая на части её тело. Она завизжала. Заглушив двигатель, Ольга выпрыгнула из кабины. Белая лайка лежала возле ошестинившейся ножами косилки и тихо стонала. Агрегат перерезал ей задние лапы. Одна лежала отдельно, на окровавленной стерне, другая держалась на голубоватом сухожилии. Ольга опустилась перед Бьянкой на колени, проговорила:

— Всё будет хорошо, девочка. Потерпи немного. Я тебя тут не оставлю.

С трудом подняла собаку в беремя и без прорыва к дому помчалась. Бьянка не открывала глаз, уткнувшись носом в хозяйкину спецовку, в тепло её горячего, распаренного тела. Силы покидали её. В обморочном тумане она бежала ещё, переполненная радостью нового утра, вслед за уходящим трактором хозяйки, видела, как сиганул из-под куста серый зайчишка, но не кинулась вслед, летела вперёд, полная радости и дурманящего чувства свободы.

Добежав с собакой до дома, Ольга положила её на хозяйский верстачок и первым делом отсекла топором сухожилие, на котором держалась отдельная от тела вторая лапа. Поглядела внимательно, не раздроблены ли кости. Лапы были отсечены с хирургической точностью по суставы. Ольга кинулась в дом, тут же выбежав оттуда с ведром студёной воды и ворохом чистого тряпья. Промыла культы, засыпала их белым порошком стрептоцида, залила флаконом зелёнки и накрепко перевязала тряпками. Бьянка тяжело дышала, словно не Ольга, а она проделала весь этот безумный, лихорадочный путь к дому.

18

Пока культы не заросли, не покрылись крепкими, похожими на коросту мозолями, лайка передвигалась по двору по-пластунски: выбрасывала передние лапы и, садня рёбра о мелкие камешки, подтягивала обрубки задних. Постепенно освоилась и вскоре проделывала необходимые движения на удивление ловко. А уж когда выучилась опираться на перемотанные тряпками культы, могла бы сойти и за здоровую собаку. Увечную, но вполне жизнеспособную. Только в лес далеко не убежишь и писать непривычно. Будь она кобельком, задрала бы культу да прыснула на штaketник. Ну, а ей-то как? Приходится враскоряку.

Булка шевотная, похоже, и не заметила, что мать обезножела. Прихватывала за уши маленькими, но востренькими зубками, вылизывала морду, носилась по двору, приглашая мать включиться в её детские игры. Белая сука взирала на неё строго, порою даже огрызалась, щерясь брылями. Однако напускная эта строгость тут же сменялась негой, светом материнства, которые испытывала Бьянка к дочери в пору своей, пусть и омрачённой инвазивностью зрелости.

Всякое утро ещё до рассвета она ползла приветствовать хозяйских кур. Те сонно моргали на насестах морщинистыми веками, а их господин — великодушный петух брамской породы с расклешёнными перьями вокруг лап, взиравший на неё вначале надменно, — теперь павлинил хвост, хлопал

крыльями и пронзительно голосил, пробуждая Астахино к новому дню. Тут же, в курятнике, она раскланивалась с пекинской уткой Дусей. По старому Дуся яиц не несла, пары не имела и оттого вела замкнутый образ жизни. Затем ползла приветствовать глупых крольчат с их трепетными ушами. Это были уже, наверное, правнуки тех кроликов, с которыми она познакомилась в первые дни своей деревенской жизни и которые, как ни печально, окончили свой бранный путь в кастрюле дяди Николая. Их косточки и по сей день находила за штакетником Булка. Из крольчатника прямая дорога вела в хлев. Здесь пахло сеном, свежим, не убранным пока назёмом и парным молоком вчерашней дойки. Маркиза тоже не спит, переминается с ноги на ногу в ожидании быстрых хозяйских ладоней на вымени, на горячих сосцах. Лайка тычется носом в коровью ляжку, выражая Маркизе своё почтение, и та отвечает ей задорным помахиванием хвоста. На обратном пути к дому лайка призывно тявкает у схрона полёвки, отчего пожилая мышка вздрагивает, подскакивает в страхе, но тут же в утренней неге переворачивается на другой бок.

Последней в чреде приветствий была хозяйка. Неслышно, словно опытный лазутчик, вползала лайка в её одинокую "опочивальню". Не мигая, смотрела, как хозяйка думывает свои чёрно-белые сны, в которых уже нет места мечтаньям и фантазиям, но только одна забота да люта тоска.

Тягостно вздыхая и вздрагивая всем телом, Ольга пыталась освободиться, но сон держал её крепко, мёртвой хваткою. И тогда наступал черёд Бьянки. Подползая к пружинистой кровати, она, наконец, вставала на свои обрубки и "целовала" лицо хозяйки. Ольга открывала глаза. Смотрела мутно. Потом яснее, добрее, лучистей. Иногда протягивала руку, чтобы благодарно почесать лайку за ухом. Иногда просто тихо улыбалась в ответ. И всякий раз говорила:

— Доброе утро, Бьянка. Пусть оно будет для нас с тобою добрым.

В такое именно утро, поглаживая лайку по животу, пальцы Ольги наткнулись на крохотное, не больше спичечной головки, уплотнение у соска, на мгновение задержались и поползли выше. В домашних хлопотах, в душном июльском мареве Ольга скоро забыла об этом. А вспомнила только через несколько недель, вновь поглаживая собачье пузо. Уплотнение стало больше. И это встревожило Ольгу.

Она вспомнила тихую аккуратную бабушку Пелагею. Та читала ей, девочке, сказки Пушкина да предания далёкого Урала о горных козлах, вышибающих копытом драгоценные камни, о подземном цветке из малахита, о злющей хозяйке Медной горы. Бабушка Пелагея жила смиренно в своём, тряпочками да чистыми половичками убранном голбце, где всегда было уютно у белёного бока печки. Заболела Пелагея, кажется, осенью, а к зиме надорвалась, из голбца не показывалась. Маленькая Оля носила ей тарелки с харчем да выносила за ней ведро. Бабушка Пелагея сильно исхудала, кожа её стала серой, как обёрточная бумага в селпо, взгляд, прежде живой, весёлый, угас. Она начала съживаться, уменьшаться. Превращаться в ребёнка. Старческий кашель, всё более грозный, сотрясал убежище Пелагеи. Вскоре, выплещивая на дворе её ночное ведро, девочка заметила кровавые ошметки. И с ужасом подумала, что это внутренности Пелагеи, куски её лёгких, что выходили из неё вместе с грохочущим кашлем. Девочка не сказала никому о своём открытии. Каждый день ходила в голбец, со страхом смотрела в восковое лицо бабушки Пелагеи, будто силилась распознать причину её ужасной болезни. Пелагея умерла на Пасху, но этого никто не заметил. Только на другой день Оленька увидела в постели прибранную, одетую в саван бабушку с ручками, сложенными на груди, с бумажной иконкой Спасителя в окоченевших пальцах. Почувствовав близость конца, Пелагея сама, никого не утруждая и не беспокоя, приготовила себя к смерти. И встретила её наверняка с облегчением.

Та же самая болезнь, как подозревала теперь Ольга, могла поразить её собаку. Бьянка, конечно, не бабушка Пелагея, но всё равно жалко.

Тем же днём отправилась Ольга к селпо, против которого стояло двухэтажное строение из шлакоблоков, именуемое официально ФАП — фельдшерско-акушерский пункт.

Заправляла тут местная интеллигенция: Мотя Едомский со своею женой Ангелиной. Оба — люди пришлые, оба — с образованием, полученным лет тридцать назад в мединституте. Приехали в Астахино по распределению да так и остались. Эскулапам за их трудовое геройство по решению местной администрации был срублен большой дом из соснового кругляка. Мало того — пристроен и сдан в эксплуатацию стоматологический кабинет, оборудованный бормашиной БПК, креслом, взятым из районной парикмахерской, и автомобильной фарой вместо бестеневого лампы. И хотя советская бормашина работала на низких оборотах да к тому же беспрерывно вздрагивала, отчего из разверстой пасти пациента струился сизый дымок с запахом горелой кости, сельские жители восприняли местную стоматологию как научно-технический прорыв. В прежние времена ведь только щипцы да “козья ножка”. И по живому!

Помимо сверления зубов, Мотя умел вправлять вывихнутые и поломанные кости, резать чирьи, укрощать лихоманку, ушивать килы, изводить чечотку, золотуху и сучье вымя. По пьяному делу, случалось, грозился, будто может разрезать человека от горла и до лобка и даже вскрыть ему череп, однако продемонстрировать это варварство ему пока, слава Богу, не удавалось. Нуждающийся в хирургическом вмешательстве народ отправляли в районный центр. Супружница его Ангелина специализировалась больше по бабьему делу: сражалась с маститами в грудях, подсобляла акушеркой при родах, но чаще выписывала направления на выскабливание в районную больницу. Она и сама скоблила обрюхатевших баб — втихаря, на ранних сроках и по большому, как говорится, благу. Про этот подпольный абортарий, помимо рядовых гражданок, знал и местный участковый, и глава сельской администрации Веттин, однако по причине личной заинтересованности собственных жён тайну эту хранили пуще государственной.

В шлакоблочном здании фельдшерского пункта народа — не пропихнуться. Кто отсёк себе литовкой фалангу, кто поганых грибов обожрался, кто обжёгся ядовитым борщевиком, а у кого — обычный понос. Стоят и сидят смиренно на лавочках в коридоре, покуда Мотя рвёт Льву Николаевичу Толстому “гнилушку”, после которой у светоча сельского образования останется восемь своих зубов, да ещё ровно столько же вставных, из металла. Едомский уже и десну скальпелем разрезал и обколот с обеих сторон новокаином. “Гнилушка” крошилась трухой, но упиралась. “Видать, у ней корень, яви твою мать, кривой, — рассуждал вслух Едомский. — Будь у меня рентген, я б тебе явственно доказал”. Однако рентген появлялся в Астахино единожды в году — для обязательной проверки на туберкулёз. Так что Моте приходилось лечить и рвать зубы вслепую. Наконец, он извернулся, вогнал в “гнилушку” козью ножку и потянул изо всех сил, упиравшись локтем в грудь старого учителя. Что-то хрустнуло в голове Льва Николаевича, и в то же мгновение озарилась солнцем Мотина морда. В окровавленных пальцах он победно сжимал гнилой учительский зуб.

Запахивавшаяся Ольга ввалилась в его кабинет без очереди, пользуясь приоритетным правом коренного населения, тремя увесистыми матюгами в адрес наглеющих “дачников” да подзатыльником какому-то пареньку. Без лишних разговоров сунула эскулапу два десятка парных яиц в берестяном кузовке в качестве оплаты за консультацию и, примостившись на краешке кресла из парикмахерской, принялась рассказывать про свои опасения. Едомский слушал внимательно, не перебивал. Спросил:

— Ты мне про кого рассказываешь? Чёй-то я не пойму.

— Да про собаку мою, Бьянку, — ответила Ольга и споткнулась о вскипающий огнём взгляд доктора.

— Да ты в своём уме! — заорал он, вскакивая с табурета. — Мне тут людей некогда резать. А ты — с собакой! Если я буду ещё и животин кромсать, что от меня останется?

— Да не прошу я кромсать мою собаку, — закричала в ответ Ольга, — ты мне дай совет, как человек в этом деле понимающий. Другого не прошу.

Они ещё долго орали друг на друга, так что в кабинет вбежала Ангелина в клеёнчатом рыжем фартуке, забрызганном каплями крови. Послушала,

о чём токовище, убедилась, что морду её мужу никто не бьёт, плонула разочарованно и вернулась к своим пациенткам. Препирательства Ольги и Матвея вряд ли могли кончиться договорённостью. Врач пытался объяснить деревенской женщине, что любая онкология требует специальных знаний и оборудования, позволяющих не только локализовать опухоль, но и понять серьёзность заболевания. Ольга же взывала к Едомской совести и добросердечию, понимая бабьим чутьём, что, если человеческая душа откликнется, все непонятные её рассудку преграды будут разрешены. Давила она, естественно, и на жалость к одинокой, коварным мужем брошенной женщине, которой одной приходится управляться с неподъёмным хозяйством. Так что без подкупа её дело никак не решалось. Посулив эскулапу четверть фирменного “Николая”, Ольга, наконец, встретила понимание.

— Ладно, хозяйка, — миг оттаяв, согласно молвил Едомский, — вечером зайду, погляжу твою животину. Только ты об этом — ни-ни! Узнают по деревне, на весь свет ославят ветеринаром!

Вечером он и вправду явился в дом Ольги под пристальным взглядом старух, отслеживающих, словно радары, нечастое передвижение по улице деревенского люда. В сенях его уже ожидала извлечённая из погреба потная четверть, а сама хозяйка обрядилась в светлое платье с ландышами да заплела в косу тяжёлые пряди каштановых волос, ещё и окропила шею и ложбинку промеж высоких грудей маслом болгарской розы.

Это благоухание Мотя почувал своим ноздреватым носом с порога. Вдохнул его глубоко, чувственно, словно редкую восточную сладость, не понимая ещё, что исходит оно от этой статной, мягкой, что твоя булка, женщины с манящим взглядом.

— Проходи, Матвей, — проговорила она. — Садись. Чай, ухайдакался на работе. Морсу брусничного налить тебе аль чего покрепче?

От такого ласкового приёма Едомский смутился, оробел. Казалось ему, кто-то смотрит на него неотрывно, осуждающе. Вдруг откроется дверь, и в избу завалится блудный дядя Николай? Не то, чтобы Мотя трусил находиться один на один с замужней, хоть бы и формально, женщиной, однако что-то подсказывало ему, что встреча эта похожа на искусную ловушку. Поведись он сию минуту на ласковые слова и восточные ароматы, вся жизнь его может уйти под откос, точно состав, подорванный партизанами.

— Ничего не нужно, Оля. Да и времени у меня в обрез, Ангелина уже на стол собирает. Веди что ли свою собачонку!

Женщина понимающе улыбнулась, но всё ж таки гибче изогнулась станом, поднимаясь с венского стула, вышла в сени. И вернулась, пропуская вперёд Бьянку.

Белой суке было не понять, для чего появился в их доме этот человек. Она узнала его, помнила с тех давних пор, когда вечерами провожала из магазина домой продавщицу Любашу или с напрасной надеждой ожидала Форстера на остановке. Никогда этот человек её не ласкал, как другие, не протягивал угощенья, сторонился. В Астахино помнили, как несколько лет назад на Едомского, нечаянно забредшего в чужой огород, набросился здоровенный алабай. Может, потому избегал Мотя чужих собак? Однако теперь зачем-то поманил к себе Бьянку, уговаривая не нервничать, не переживать. Лайка обернулась к хозяйке и, не увидев в её лице запрета, подошла к доктору. Тот не стал её гладить, а с мягкой настойчивостью уложил на пол, потом, не настораживая собаку, отчего-то сразу доверившуюся его рукам, перевернул на бок и не спеша, спокойными движениями пальцев принялся ощупывать её тёплый живот. Бьянка почувствовала — рука его вдруг остановилась. Переползла к шее, ушам. Тронула нос. Вновь вернулась к животу и, наконец, отпустила.

— Хреново дело, — проговорил Едомский, поднимая взгляд к соседке. — Опухоль молочной железы. Уже и лимфатические узлы воспалились. Проживёт месяца два. Или три. Не больше.

— Ей еще можно помочь? — спросила Ольга.

— Если тока резать, — ответил Едомский. — только тогда поймут, куда метастазы проросли. Мне думается, поздно уже. Мобуть, и обратно зашьют.

Говорить людям о близкой смерти для врача всегда не просто. Даже для сельского фельдшера Моти Едомского. Напрасно говорят люди, что со временем докторское сердце черствеет, словно вчерашний ломоть хлеба. Со стороны лекари кажутся циниками, поскольку говорят о сокровенных частях и недугах человеческого тела с прямотой сантехников и электриков. Но приглядевшись внимательнее, увидев их в деле, понимаешь: такова особенность их труда. И сердце у них — такое же, как у всех, из крови и плоти.

Поднявшись с колен, Едомский потрепал жёсткий загривок лайки, виновато улыбнулся стоящей перед ним женщине, как бы извиняясь за то, что не уделил ей мужского внимания, и за то, что сообщил печальную весть. Попрощался и вышел во двор.

Жаркое солнце клонилось к закату, завязнув в трясине перьевых облаков и превращая их в розовый кисель. Над рекой к лесу потянули первые вальдшнепы, а с полей на реку с тяжёлым плеском садились дикие утки. Из каждого перелеска, из каждого куста доносился щебет пеночки-веснянки, не приметных гаечек, щеглов и зырянок. Распускались пышно, лишь на три летних ночи, лимонные цветы ослинника, да гроздья смолёвки придерживали вокруг себя гиацинтовый аромат, слышный особенно такими вот тихими вечерами и собирающий на этот чарующий запах целые стайки трепетных совок.

Вот она, жизнь! Со всеми её горестями, утратами, разочарованиями и даже смертью! Вечно будут цвести смолёвки, вечно будут заливаться зырянки, вечно будет нести свои воды эта река и солнце будет заходить за горизонт.

Весь-то вечер, когда планета Венера особенно ярко сияла отражёнными лучами Солнца, просидела Ольга на полу возле своей собаки в печальных размышлениях о будущем. Она понимала, что не сможет оставить хозяйство ради спасения Бьянки. Если и найти кого-то, кто мог бы отвезти собаку в район, к ветеринару, то на операцию, на выхаживание, на лекарства не хватит даже той тысячи долларов, которые прислал ей блудный муж. Да и смысла нет платить. Сказал же Мотя: операция может и не помочь, всё слишком запущено. Да и где видано, чтобы обыкновенный человек, селянин, повёз вдруг собаку или иную какую животину на операцию? Не было такого в сознании деревенском, в многовековом укладе жизни северных крестьян. А вслед за мыслями о несчастной Бьянке нахлынули на Ольгу собственные печали о том, что и сама она похожа на свою собаку — всеми брошенная, позабытая. Придёт беда — некому будет даже, как говорится, воды подать. Так и сдохнешь. “Без церковного пеня, без ладана, без всего, чем могила крепка...” Хорошо, коли помрёшь летом, а если зимой, когда на всё Астахино остаётся не больше тридцати стариков, а ближние избы и вовсе с заколоченными ставнями стоят. Разве кого докричишься? Ольга видела собственными глазами картину смерти одинокого человека, когда повесилась старуха Спиридониха. Провисела в вымороженной избе дней пять. Покрылась колкими иголками инея, словно старая снежная королева с фиолетовым распухшим языком. Зато мыши не погрызли лицо и руки, и сама она не протухла.

Надежды на дочь у ней тоже не было. Жила она теперь в городе Вельске с промышлявшим вырубкой леса вдовцом. Жила без официальной росписи на положении сожительницы, а то и прислуги, няньки двум его злым-девчонкам, десятилеткам. Вдовец валил лес вахтовым методом, уезжал на месяц, а то и на два. Так что Маруся большую часть одинокого времени предавалась туманным мечтаниям и неизбежной русской тоске по несбывшему счастью. Оттого, видать, и зашибала. Уходила в запой, не обращая внимания на голодный вой падчериц, на загаженную однокомнатную квартирку, на осуждающие взгляды соседей.

Казалось бы, всего-то до Вельска километров двести, а будто на другой планете. Вести от дочери приходили всё реже. Тоньше делалась нить, соединяющая её с матерью.

“Что моя жизнь?” — спрашивала теперь себя Ольга и с горечью признавала, что всего-то три дня была на свете этом грешном счастлива: когда ловила солнечных зайчиков на бревенчатой стене родительской бани, когда выходила замуж за Николая и, конечно, когда родила (прямо в хлеву) Марусю.

Всего-то три дня. Из пятидесяти лет сознательной, вполне зрелой жизни. Не мало ли счастья?

Ей стало невыносимо жалко себя, и непрошено, градом хлынули слёзы из глаз. И падали, всё падали на платье в ландышах, на мозолистые грубые пальцы, на белоснежную шерсть лежащей у ног лайки.

19

Булка тем временем превратилась из щеночка в подростка с тугой закорючкой хвоста, но потешными отвислыми ушами. Пока стояло лето, она предавалась охоте за бабочками, изучением ближнего к дому перелеска, где уже отыскала и звонко, профессионально облаяла лесного ежа, да беззаботной послеобеденной неге в горячей пыли возле скамейки с рунами клана Рябиновых. Она теперь всё реже бывала с матерью, чаще, прошмыгнув сквозь пролом в штакетнике, мчалась на волю, в душное, сладкое марево цветущего луга, зрелого лета.

Бьянка, наоборот, старалась от дома далеко не уползть. Днями лежала в прохладных сенях, пахнущих можжевеловыми венниками, на том точно месте, где родила своих детей, где простился с ней доктор Форстер, где до сих пор висел на гвоздике кожаный его ягдташ да поводок из городской её жизни. Просыпалась она теперь с ощущением внутренней тяжести и тоски, без всякого желания съедала невкусное, жирное варево. Пасть её сохла до состояния наждака, так что теперь она укладывалась рядом с миской чистой воды. Глаза её слезились, полнились солёной влагой, отчего на шерсти возле глаз появились бурые подтёки. Казалось, вместе со слезами сама жизнь утекает из неё капля по капле. Но боли никакой она не чувствовала, хотя сосцы в нескольких местах опасно налились спелыми виноградинами.

В начале сентября, после того, как ребятишки пошли в школу, пропала Булка. Как обычно, шмыгнув спозаранку сквозь штакетник, умчалась юная лайка в ближний лес. И к обеду не вернулась. Миска с её баландой осталась нетронутой. Наступил вечер. Бьянка с трудом поднялась с лежанки, вышла во двор и долго стояла, задрав белоснежную голову, верховым чутьём стараясь определить местонахождение дочери. Несколько раз позвала её высоким поскуливанием, вслушивалась.

Над селом шли низкие тучи, гудел ветер в проводах, шелестел вызревшей травой, раскачивал тяжёлые ветви дубов. Не слышно было Булки.

Ночь прошла без сна. Бьянка вздрагивала от малейшего шума, шороха во дворе. Поднимала голову. Вслушивалась в надежде распознать знакомый бег. И не слышала ничего.

Чуть свет, глотнув похлёбки, Бьянка ушла в лес на поиски заплутавшей дочери. Она помнила, знала по собственному опыту, что с молодыми лайками такое случается. Стоит им почувствовать зайчишку, они увлекаются преследованием, а косой, путая следы, кружит по лесу, заманивает неопытную охотницу в глухую чащобу, вдалеке от жилья и дорог. Длится такая гонка не по одному часу, а завершается для молодой и горячей собаки полной потерей ориентации.

...Следы Булки лайка нашла сразу, метрах в трёхстах от околицы. Хорошо, что прошедшей ночью вслед за ветром не пришёл дождь. Иначе бы искать пришлось гораздо дольше. Следы вели напрямиком к ближней берёзовой рощице.

Ранняя осень кружила первым яично-жёлтым берёзовым и кленовым листом, проступала пурпурными пятнами на осинах, рябине, черёмухах. В воздухе уже слышалась слабая зимняя нота. Небо приблизилось, покрылось серой рябью, лохмотьями облаков. Запахи сделались влажными, терпкими, как живица. Дикие птицы давно обзавелись потомством, иные выводки разошлись по болотным ягодникам. Дикий зверь вместе с потомством нагуливал жир на ягоде, мёде, орехах, желудях и грибах, чтобы запаса хватило на долгую северную зиму.

Бьянка шла на запах дочери не быстро, ущербно припадая на культю, но чутьём — уверенно, не теряя следа ни на мгновение, не отвлекаясь на

другие запахи — перезревшей травы, свежего тетеревиного помёта, заячьей мочи. Нужный ей след вёл дальше, сквозь берёзовую рощу, через полянку с сухими трубками борщевника, через чистый карминовый ручей — прямым в глухую чащобу Марьянова леса, чьих пределов Бьянка не знала, а простирался он ещё на триста верст, до самого секретного города Плесеца.

В лесу этом она бывала и прежде, однако даже бывалый охотник пробирался тут по заросшим тропинкам, оставленным гусеницами трелёвщиков в пору расцвета пиратской вырубki леса, по самым его закрайкам. Флибустьеры русского леса сколотили тут и крепкую избушку из мачтовой зимней сосны, оснастили её нарами да печкой-буржуйкой, чтобы коротать ночь в сезон браконьерской охоты. Остановливался в ней некогда и нынешний барон дядя Николай вместе с Бьянкой. Вместе с хозяином они проверяли в радиусе пяти километров все звериные тропы, все лежанки да кормовые уголья. Набили мешок рябчиков да подняли трёх тетеревов на болоте, да одного глухаря на току. Теперь в избушке уже, видать, давненько никто не селился. Дверца заперта ржавым замком, заросла паутиной, оконца — мутные, глаукомные. На гвоздике сохнет заячья шкурка, вывернутая чулком наизнанку, добытая, судя по жёлтой шёрстке, в начале нынешней зимы. Однако ни заячья шкурка, ни остывшее человеческое жильё не прервали долгого хода юной лайки, и следы её уводили всё глубже в чащу тёмного леса. Тем более, что к следам Булки теперь добавился ещё один запах: вонь дикой свиньи с выводком.

В чаще всё было иначе, чем в милых сердцу лайки рощицах и перелесках неподалёку от дома. Могучие, столетние сосны, до которых, по счастью, не добрались ещё немецкие бензопилы пиратов, высились редко, но монументально. Разлапистые ели окружала молодая пахучая смена, пенились кусты чёрной бузины, дикого шиповника, уходили вверх пепельные стволы осин, чьи пурпурные листья снизу не сразу заметишь. Вся эта дикая, буйная поросль густо заслоняла небо, едва пропускавая на землю солнечные лучи. Лишайники цвета морской волны свисали с елей былинными бородами. Разноцветные мхи — ярко-зелёные сфагнумы, голубоватые исландские, лимонные очитки и багряные кукушкин лён — выписывали на болотистых прогалах божественный орнамент, по которому даже бежать в радость — так мягко пружинит он под ногами. А во мхах-то — черничная и брусничная россыпь ягод вперемежку с лаковыми жёсткими листочками. Алые и чёрные ягоды набрали летнюю сладость и теперь ждут-ждождываются глухаринаго ли выводка, мишки косолапого или стайки припозднившихся дроздов. Тут же и грибы породистые, духовые, как на подбор, — пятирублёвые маслята, крепкие красноголовики да упитанные боровички в матовых шоколадных шапочках. Источают гнилостный аромат переростки, готовые упасть, орошая землю спорами будущих грибов, красуются лубочные мухоморы да “дедушкин табак”, даже от лёгкого прикосновения извергающий фонтанчики махорочной пыли.

Вот уже и день клонится к закату, Бьянка всё тяжелее ковыляет лесною тропой по следу дочери — через валежины, поваленные поперёк тропинки стволы деревьев в изумрудных лишаях, через бойкие ручейки, где лишь на секунды останавливается перевести дыхание, напиться ключевой воды.

Снежную шёрстку Булки лайка заметила неожиданно, лишь только обогнула вывороченную с корнем сосну. В чуткий нос её кучно, больно ударили запахи разлагающейся плоти, кабаньей шерсти, остывшей крови. Бьянка замерла на мгновение и затем осторожно пошла в сторону снежной шёрстки, понимая уже совершенно отчётливо, что случилось непоправимое.

Приблизившись к месту с выгнотанными, кое-где вывернутыми мхами, с подсохшими сгустками крови, с ключьями жёсткого кабаньего волоса, увидела она, наконец, несчастную Булку. Она смотрела в сторону близящегося заката стеклянным, остановившимся взглядом. Нос её совершенно высох. Шёрстка — в пятнах подсохшей грязи, сукровицы, живых пятнышках навозных мух, которые, жужжа, уже слетелись на мертвечину. На левом боку — от паха и до грудины — широкая чёрная рана, из которой фиолетовой массой вывалились ошметки кишок и внутренностей. Тугая прежде закорючка

хвоста обмякла. Пасть оскалилась в последнем крике. Жизнь оставила Булку ещё накануне.

Всю-то ночь выла Бьянка над трупом дочери. От этого плача, оглашавшего лес на километры окрест, взлетали с деревьев испуганные совы, сторожкие зайчата прижимались ниже к земле, замедляли ночной бег волчьих стаи. Безмолвная галактика со всей своей вселенской печалью роняла на землю частые плакучие звёзды.

Стихла Бьянка только к рассвету. Очнувшись от короткого забытья, вновь подползла к мёртвой дочери, долго, тщательно вылизывала её морду, ещё раз взглянула на истерзанное тело. Затем отвернулась и принялась то одной, то другой лапой, а то и задними культями отбрасывать на труп комья земли, перемешанной с травой и хвоей, стремясь засыпать ею несчастную Булку. Так закапывала она своего ребёнка, пока не укрыла его лишь слегка, оставив припорошенный труп на краю звериной тропы. И, не оглядываясь, медленно побрела к далёкому дому, по остывшим запахам и приметам пытаясь понять, что же случилось с Булкой два дня назад.

А случилось с ней вот что. Никакой заяц её, хитроумно путая следы, не гонял. Да и не видела она зайцев в тот день ни разу, даже духа их не чувствовала. Увлёк юную лайку запах дикой свиньи, что ломанулась от неё в сторону, спасая трёх своих “матросиков”. По их-то следу, повинувшись молодому азарту и природному инстинкту, Булка и пошла. Шла так довольно долго, не прибавляя хода и не пытаясь напасть. Наконец, звери остановились, притихли. А перед ними неожиданно возник тёмный силуэт молодого секача с жёлтыми, как слоновий бивень, клыками. Он жадно вдыхал терпкий осенний дух и пока не замечал Булку, которая стояла на тропе с подветренной стороны. Но ветер вдруг переменился, и зверь почувал лайку. И сразу кинулся навстречу. Булка взвизгнула от неожиданности и бросилась наутёк. Если бы побежала она обратно, к дому, может, и остался бы от неё секач. Но горячая кровь и охотничий азарт заставили её сделать резкий разворот, обойти секача сзади и вцепиться зубами в его армированный калкан. Если б знала она, что осенью даже стрелять по кабаньему калкану бессмысленно, ибо даже пуля отлетает от него, как от титанового слитка. Но она по молодости лет, конечно, не знала об этом. Острые её зубы только чиркнули по звериной шерсти. Секач обернулся и в секунду подсёк лайку клыками. Собака взвизгнула, ещё не чувствуя боли, а только сокрушительный удар в грудь, который кинул её на заросли мхов, и она отлетела на них, обильно орошая их хлынувшей кровью.

Последних минут жизни — собачьей ли, человеческой — не разгадать и не осмыслить живущим. Оторопь ли перед неизведанной, иной жизнью, ужас или облегчение испытывает всякая тварь Господня, очутившись на пороге непроницаемого, невозвратного? И отчего же тогда, перешагнув черту, испытывает лёгкость, состояние благодати, неведомой прежде эйфории, а земные радости, пусть и самые яркие, кажутся чем-то незначительным, ничтожным?.. Настолько ничтожным, что к прошлой жизни и возвращаться не хочется. Особенно душам непорочным, юным. Хочется верить, что им уготована вселенская вечность. И вселенская радость.

Если бы Бьянка была человеком, она бы, возможно, думала примерно так, однако она была всего лишь лайкой. Всё её существо переполняла любовь к тем, кого она однажды произвела на свет и теперь потеряла.

Горькое это утро раскрылось солнечным, прозрачным. Падал осенний лист, и в падении этом тоже была печаль расставания, смерти. Но по-весеннему звонко щебетали лесные птицы, нити паутины невесомо парили над сухим жнивём, над которым во всей своей безбрежности растекалась бескрайняя голубая атмосфера. Красота мироздания рождала горькое и одновременно светлое предчувствие: жизнь продолжится, даже если мы этот мир покинем. Он останется прежним, невыразимо прекрасным, а мы, возможно, обретём другой мир — лучший.

Медленно, с частыми остановками и свинцовой тяжестью во всём теле, с непреходящей болью в израненных культях, тащилась Бьянка к дому. Иногда останавливалась, ложилась на жухлую листву, закрывала бессонные глаза, чувствуя под животом влажную прохладу грядущих стуж, а шкурой —

нежаркое касание солнечных пятен. И вновь поднималась, брела звериной тропой к чужой теперь, наполненной её одиночеством деревне.

Бьянка тащилась к хозяйке, еле передвигая стёртые в кровь культы. Опустив голову к земле, не заглянув в глаза Ольге, подползла, упёрлась головой ей в колени. Женщина наклонилась к несчастной и, ещё не понимая причины столь долгого отсутствия лайки, не подозревая гибели Булки, чутким бабьим нутром угадала собачье горе. Остро почувствовав и себя несчастной, без сил после тяжёлых дневных трудов, вслед за скулящей ей в колени Бьянкой Ольга и сама заскулила от неизъяснимой тоски и печали. Так и плакали они — собака и человек — одни-одинёшеньки на этой земле, под равнодушным солнцем, клонящимся к тускло багровеющему в тучах закату, под редкими горошинами звёзд, давным-давно уже умерших во Вселенной.

20

В конце октября до Астахино, наконец, добралось очередное послание от дяди Николая. Сообщила об этом, взволнованно пуча глаза, Нюра Собакина, встретив Ольгу в сельпо. Народу в магазине было немало: ждали, когда чечены подвезут свежий хлеб.

Со вчерашнего ещё дня Любаша записывала карандашом всех желающих в общую ученическую тетрадку, где хранила пометки о товарных кредитах престарелых односельчан, что получали продукты в долг, до следующей пенсии, которую, к тому же, носили нерегулярно. Едва Нюрка сообщила во всеуслышание, что из Испании Ольге пришла долгожданная депеша, как ожидавший хлеба народ, словно по команде, оборотился к Рябиной. Всем было интересно, что она на это ответит? Но Ольга не сказала ни слова. Кивнула Нюре и вышла вон. Граждане тут же принялись эту “санта-барбару” обсуждать, высказывать предположения, отчего это Николай не возвращается, уж не нашёл ли себе на чужбине заместо законной супруги иностранную сударушку? Не предал ли он этим и Родину заодно?

Граждане, как всегда, были правы.

Вскрыв на почте заграничный вытянутый конверт с двумя уточками-мандаринками на марке, Ольга развернула лист дорогой бумаги с водяными знаками. И прочла следующее:

“Дорогая моя Олюшка! — писал как-то уж совсем подозрительно складно и ласково Николай Игнатьевич. — Прежде всего, передавай от меня привет нашему голове Августу Карловичу Веттину и супруге его (сыр и ногу я ему уже давно купил, отправлю на днях посылкой), директору школы Льву Николаевичу Толстому, Матвею Едомскому с Ангелиной, Харитону, сестре моей Зинке, племяннице Любке с мужем, Серафиме Аркадьевне, Нюрке Собакиной, егерю Витьке Кузину да остальным ребятам. Скоро ты сможешь с гордостью меня называть Николас де Бланко Видаль, поскольку после смерти отца могу унаследовать его титул барона. Я уже написал об этом заявление в Министерство юстиции Испании и теперь буду ждать, когда его подпишет король. Но на это уйдёт не меньше двух лет. Как ты понимаешь, я вступил уже в права наследования отцовского имущества, которое состоит из 63 гектаров оливковых деревьев в Андалузии, одной фермы для выращивания боевых быков для корриды в деревне Буэнамадре, двух имений в Ла Манче и дома в Ронде, где имеется ещё большой апельсиновый сад, семи автомобилей, цены которых я пока не знаю, и даже личного самолёта в аэропорту Менисес. Конечно, отец оставил мне большое состояние, которое хранил в банках под проценты. Одним словом, я стал вдруг богатым человеком! В моих делах помогают мне управляющие и известная тебе Долорес, без которой я вообще, как без рук, поскольку по-испански покуда не балакаю. Она — как ты! Только ещё добрее. Предлагал ей деньги за её работу, но она от них отказывается, говорит, что не в деньгах счастье, и помогает мне бескорыстно.

Хочу сказать тебе, что мне было бы приятно, если бы ты смогла приехать сюда, пусть даже и насовсем. Продавай к лешему избушку да сарай, да животину с техникой и перебирайся сюда. Можешь даже никаких вещей

не брать, кроме икон. Я тут всё тебе куплю и поселю по высшему разряду: хочешь — в Ла Манче, хочешь — в Ронде. Поживёшь хоть в своё удовольствие на старости лет. Неужели мы этого не заслужили с тобой? Можешь и Маруську прихватить. Мы найдём ей тут достойного кабальеро, а не вдовца с лесоповала. Отдельным переводом я послал тебе ещё десять тысяч долларов, чтобы ты уже ни в чём себе не отказывала. Таких деньжищ в Астахино сроду не видывали. Их хватит и на поездку, и на переезд, и на всё остальное. Заживём втроем с моей Долорес дружно и счастливо. Любящий тебя муж Николай Рябинин”.

“Он, должно быть, от деньжищ-то этих совсем умом тронулся, — подумала про себя Ольга без злости, но с искренним сожалением. — Или горькую глушит”.

Следующая мысль поразила её своей ясностью и прямоотой, поскольку исходила из самой сердцевины северной женской души. “Надо его спасти, — подумала Ольга. — Жена я ему али нет? Негоже так от мужика-то отказываться. А уж бобылкой остаток дней прожить — тем более”.

— Нюр, — обернулась она к Собакиной, — купи-ка ты мне путёвку!

— Куда, тётъ Оль?

— Да в Испанию эту поганую, подери её лешак.

— И вы тоже? — изумилась Нюра.

— Мужика своего из басурманского плена вызволять поеду, — улыбнулась задорно Ольга.

Через четыре недели или поболее того путёвка заграничная была готова. Неведомый Ольге авиалайнер собирался унести её на Иберийский полуостров в начале декабря. А покуда ей предстояло разобраться с хозяйством.

Почитай целую неделю кумекала Ольга Рябинина, что ей делать с большим наследством испанского своего идалго. Трактор сбавила сразу, за полцены, на пилораму, где, на счастье, собственная техника надолго вышла из строя, как водится, по причине лености нерадивого тракториста. Сети, мотор “ветерок” да китовый гарпун в довесок уступила за бесценок местным браконьерам. Уложила в сундук иконы, укутав байковым детским одеяльцем, туда же отправились альбом с фотографиями — осколками прежней, молодой и счастливой её жизни, — сберегательная книжка с беспроцентным вкладом на шесть тысяч рублей, ветхие документы, подтверждающие её появление на свет, заключение брака да трудовую деятельность, по которой можно было проследить весь путь Ольги Андреевны Рябининой со дня окончания восьмого класса до развала СССР. Уместились в кованный специальными “мороженными” накладками сундук фарфоровый сервиз Ленинградского завода, подаренный ещё родителями на свадьбу, мамины коралловые бусики, гипсовый барельеф с профилем товарища Сталина, несколько писем в жёлтых конвертах, посланных ей в районный роддом щедрым когда-то на нежные слова мужем. А ещё — почти новое Евангелие в зелёном переплёте, затёртый молитвослов да дерматиновый помянник с длинной вереницей имён ушедших.

Хотя и считались Рябинины по местным понятиям людьми зажиточными, однако ж, когда пришло время, что называется, собирать камни, поняла Ольга, что похвастаться ей особо нечем. Из всех богатств разве что золотой крестик на шею ценою в три тысячи рублей, что подарил ей на пятидесятилетний юбилей Николай, и золотое колечко с бирюзой — на рождение дочери. Остальные деньги, полученные от продажи молока, шкурок, картошки и кроликов, вновь, как теперь говорят, инвестировались в дело: в новый инкубатор, в прививки для скота и птицы, в запчасты к тракторам и, само собой, в бочки с соляркой. Может, и были у Николая какие тайные от неё схроны да заначки, однако про них ей было неведомо.

Многое решила оставить, как есть. Всю мебель. Коврик с фигурами трёх охотников на привале. Телевизор цветной со спутниковой антенной, корейский радиотелефон, самогонный аппарат, посуду и кухонную, так необходимую ещё недавно дребедень: чутгунки, кастрюли, ведра, ухваты. Не тащить же ухват в Испанию! “Да мало ли что, — рассуждала Ольга, — вдруг что пойдёт не так, что, если брешет Николай про свои богатства или бабёнка

новая успела ободраться его, как липку. Будет куда отступать. И куда, на худой конец, вернуться”. Да и для Маруськи дом — родное гнездо, пригреет, коль опостылет ей кальсоны вдовца стирать да девкам его подтирать сопли.

Когда с недвижимостью, техникой и сборами было, наконец, покончено, пришёл черёд думать, как поступить с живностью.

Пошла по соседям Ольга, вывесила на лазоревой дощечке возле сельпо рукописное объявление, мол, продаю утку Дусю, корову Маркизу, тридцать безымянных кроликов да куриную стаю. Покупатели на кроликов нашлись на удивление быстро. Фельдшер Мотя Едомский с Ангелиной, оказывается, давно к ним приглядывались. Могущие фландры, которых дядя Николай несколько лет назад заказал знакомому барыге привезти из Москвы, с международной выставки кролиководов, теперь обзавелись здоровым, крупным потомством, а те уже заматерели и сами строгают ушастых почём зря. А ведь с одного фландра не меньше семи, а то и десяти кило чистого мяса. Да шкура ещё, да пух. За такой кроль, если сдавать мясо заготовителям, можно получить пару тысяч рублей! Ольга отдала их местным эскулапам по тысяче за голову, оптом. Получилось аж тридцать тысяч рублей, которые люди в белых халатах вернее всего заработали на подпольных абортах. Деньжищи немалые! Упрята-ла их в тот же сундук под замок и принялась устраивать судьбу Маркизы.

Добрая, доверчивая корова холмогорской породы, которая жила у Рябиных четырнадцать лет, была любимицей Ольги. Она помнила её игривой комолой тёлочкой в чёрных кляксах по белой шкуре, будто промокашка из ученической тетради. Нрава она была ласкового, но вместе с тем преисполнена некоего внутреннего достоинства, породистости, чувства меры. Именно поэтому и назвала её хозяйка Маркизой.

Если бы не Маркиза, не пережить им было бы лихолетье девяностых годов, когда власть то и дело сшибалась с народом, хмельные вожди рвали в клочья СССР, и дело чуть не дошло до братоубийства. Отзвуки московских боев, хоть и транслировались центральным телевидением, доходили до Астахино в виде приказов и распоряжений с большим опозданием, так что об экономическом, как по “ящику” говорили, коллапсе, местный народ узнал не сразу. Началось и тут с задержек пенсий и зарплат, которые худо-бедно ещё платили в колхозе. Но тут и колхоз стране оказался не нужен, и ни фондов, ни денег, ни солярки, ни даже страхового семенного запаса вокруг на сотни вёрст не сыскать.

Не сразу поняли крестьяне, что рассчитывать им теперь, кроме как на самих себя, больше не на кого. А как раскумекали, принялись колхозную собственность, понемногу вначале, а затем всё шустрее растаскивать. Покойничек Камиль Фёдорович Бухалов на правах председателя “Заветов Ильича” пытался было по тогдашней государственной моде переиначить колхозников в сознательных фермеров: выделить им в собственность паи да акции в зачёт задолженности по зарплате. Только народ этот подлый в светлое капиталистическое завтра почему-то ломиться отказывался. Пришлось Камиллю Фёдоровичу пустить народное прежде имущество с молотка: ГСМ, технику — хоть даже на металлолом, и без того не многочисленный, оголодавший колхозный скот — на мясо. Несколько недель стоял над фермой протяжный коровий стон, а из распахнутых ворот на сахарный снег стекали реки невинной крови. Несколько забрызганных кровью мужчин и парней, вооружённых топорами и разделочными ножами, орудовали, что называется, без устали. Резали ревущие в испуге горла. Кромсали тёплую ещё плоть. Рубили суставы и кости. И потянулись по селу кровавые обозы. Прицепами, багажниками ржавых автомобилей, да и просто санками тащил по норам народ свою добычу. На что уж идейный, но и дядя Николай тоже приволок на ледник килограммов триста говядины.

Жировали всем селом до лета, покуда стратегический запас не начал подванивать. Тогда наварили из говядины тушёнки да по банкам харч закатали. И всё же к будущей зиме и эту заначку прикончили. Наступили голодные времена. Пенсии — и те не платили. Знатный прежде колхоз “Заветы Ильича” разграбили, растащили, а теперь и бывшие колхозники, отставные труженики полей, естественно, оказались никому не нужны.

Да в завершение всей этой истории Бухалов самодично скупил колхозные паи да акции с тем, чтоб через несколько лет продать их вместе с колхозом и народом его криминальным авторитетам из города Кондопоги. Да что-то в документах и расчётах своих при продаже, видать, напутал. Нашли Камилля Фёдоровича в светлом березнячке возле погоста со сквозной дырой посреди геройской груди. Менты, как водится, посчитали это самострелом и дело закрыли. Новые хозяева местностью этой и своим приобретением не шибко интересовались. Они рубили русский лес и продавали его чухонцам.

Вот тогда-то Маркиза семейство Рябиновых и спасла. Тёплое её молочко с лёгкой голубизной тут же отправлялось в новый, с фермы украденный сепаратор, превращаясь через считанное время в густые сметану, сливки, масло. Вечерами квасили да варили, да отжимали в марлечке творожок, который, стоит ему постоять ночь на леднике или даже в сенах, превращался в изумительный продукт, особо если его крыжовенным вареньем сдобрить или конфитуром из лесной земляники. А после и за сыр принялись. Опять варили молоко, но теперь с творогом, кефиром и сметаной. Добавляли своего деревенского масла да своих же парных яиц, да ещё боровичок жареных, да душицы с сухой мятой. Стоял такой сыр под гнётом несколько дней. Зато уж потом от лакомства этого, как говорится, за уши не оттащить. Молока у Маркизы было столь много, что Рябиновины могли бы им ещё и торговать, однако народ местный и сам был не в худшем положении, а городские приезжали в Астахино не часто. Особливо в те смутные времена. Ухоженная, сытая Маркиза честно платила своим хозяевам сладким молочком и коровьей любовью, проявлявшейся в томном взгляде из-под белёсых ресниц, прикосновениях шершавого языка к доящей руке да глубоких вздохах. За дойкой Ольга всегда разговаривала с коровой, делилась с ней переживаниями, страхами, пересказывала деревенские новости, а порою пускала слезу, жалуясь на каторжную свою долю. После того как дядя Николай откинулся на Пиренейский полуостров, сокровенней подруги у Ольги, пожалуй, и не было. Маркиза да Бьянка — две живые, родственные души.

Вот и теперь, лишь только исполнилась решимостью избавиться от коровы, Ольга, взяв в руки подойник да скамеечку свою заветную, пришла в хлев, чтобы поговорить об этом с верной своей подругой.

Маркиза, как и всегда во время утренней дойки, уже взбрыкивала передним копытом, мотала приветливо пахнущей сеном мордою да хвостом с угляной кисточкой на конце во все стороны помахивала. Ольга пристроила скамеечку у маркизинового правого бока, вымыла тёплой водой полное молоко вымя, обтёрла тряпицей байковой.

— Ты уж не серчай, моя хорошая, — промолвила Ольга, надавливая пальцами на соски, из которых тут же тугими струями брызнуло в подойник парное молоко. — Я ведь не по своей воле свожу тебя со двора. Вишь, как оно всё сложилось: мужика свою надобно из чужбины выручать. Иначе как? Пропадёт он там со своими деньжищами да бабёнкой его подколодную. Я уж по-всякому думала да гадала. Оставить тебя да хозяйство на Маруськино попечение? Или денег кому дать, чтоб за вами, сердешными, пока езжу, ухаживали? Да кому вы, бедолаги, нужны? Даже за деньги. Лучше мамкиной-то любви всё одно не сыскать! Да и не станет Маруська со своей-то кодлой с вами ещё, как я, мудохаться. Живо пустит в расход. Ей, может, только того и нужно.

Подойник живо наполнился молоком в то время, как животное внимательно слушало хозяйку, казалось, даже кивая согласно на некоторые её слова.

— Вот и получается, что никому-то ты, родная, окромя меня, не нужна. Потому и решила я устроить тебя к добрым людям на попечение.

Тут Ольга не выдержала. Голос её, по-стариковски задрезжавший, отворил путь слезам, и она, оторвавшись от дойки, утирая рукавом крепко солёную влагу, заголосила, прислонилась головой к тёплому пятнистому боку подруги. И слёзы её капали и капали в тёплое молоко Маркизы. И исчезали в нём без следа.

— Да на кого же я тебя оставляю! — выла Ольга. — На каку погибель отдаю! Ты ж меня спасала! Ты ж всех нас скока лет кормила-поила! Скока

слёз я по тебе пролила, когда заблудилась да застудилась, да титьками надсадишься. Прости меня, подруга моя верная, прости хозяйку свою, зло замышляющую. Прости за разлуку вечную! За горюшко, против воли моей чинимое! Прости меня, прости!

Маркиза слушала Ольгу, не понимая причины её слез, но чувствуя близкую, наваливающуюся беду. Утешая хозяйку, повернула тяжёлую голову, лизнула наждачным языком её солёные щёки. Молоко Маркизино отчего-то перестало сцеживаться. А в воздухе застыла тягостная тишина. Будто согласные две струны разом оборвались внутри животного и человека.

А на Астахино ночью сыпанул снег. Он растаял, оставляя под ногами Ольги чёрно-белую чересполосицу, по которой шла она на поиски покупателя. Первым делом — к сельским эскулапам Моте Едомскому и жене его Ангелине. Те собрались к себе в ФАП, стояли на улице в резиновых сапогах, дружно огребая лопатами ночной снег с дощатой дорожки, ведущей к дому.

— А сколь ты за неё просишь? — щура глаз, спросил Едомский.

— Я коров никогда не продавала. Не знаю. Может, тыщ пятнадцать.

— В своём ты уме, соседка? — отозвалась тут же Ангелина. — Корова у тебя старая. Через год-два доиться перестанет. Что, на тушёнку её? Дороговата тушёнка получится.

— Зачем нам ещё и корова? — вмешался Едомский. — У нас две своих, да бычок, да поросята. Да кролей твоих прибавилось. Мы ж не “вротшильды” какие. Прости, конечно, Ольга, но Маркиза твоя нам и даром не сдалась.

— А ты её — под нож! — предложила Ангелина. — Мясом быстрее выручишь.

— Под нож?! — удивлённо вскинула брови Ольга. — Ведь жалко её!

— Ну, раз жалко, ничем, соседка, не могу тебе помочь.

— Извини, — шаркнул деревянной лопатой Едомский.

Что ж делать? Отправилась Ольга дальше по сельской улице, исхоженной ею вдоль и поперёк. Здесь знаком ей каждый бугорок, каждое дерево в чьём-то палисаде, каждый булыжник под ногой. Теперь-то их выбрасывают, а прежде использовали для каменки в бане или как гнёт при засолке капусты. Памятна Ольге и каждая скамеечка у ворот, на которой соседки вплоть до пенсионного возраста высиживали и глобальные, и местные новости.

Возле сельсовета — председательская усадьба. Дым из трубы — берёзовый, дегтярный. Знать, Август Карлович ещё дома, блины на простокваше кушают. Вон и автомобиль его служебный, “козёл”, перед воротами пердит, хозяина дожидается.

У Веттиных, при всей их политической значимости, хозяйство большим не считалось. Всего-то с десятков курей да пара подсвинков, да тёлочка молоденькая. Весь провиант Август Карлович предпочитал закупать в городских магазинах, придерживаясь ошибочного мнения, что иноземная жратва, хоть и дороже, однако вкуснее, здоровее. На почве всей этой кока-колы, чипсов, гамбургеров, пиццы да сникерсов заработал он вскорости диабет второй группы. Однако от привычки своей не избавился, упрямо приближаясь к слепоте, гангрене и инсульту.

Завидев у калитки Ольгу, от блинов своих не оторвался, сохраняя начальственную и родовую степенность.

— Ну, и где этот твой рыцарь печального образа? — огорошил её с порога. — Возвращаться-то собирается? А то мне уже из ФСБ звонили, уточняли, где он и что.

— Вот я и еду его возвращать, — ответила Ольга, — уже и билет купила.

— Во как! — удивился Веттин. — Стало быть, тоже Родину предаёшь?!

— Плохо вы судите обо мне, Август Карлович. А ведь я вам ничего дурного не сделала. Вот, пришла, думала коровёнку свою предложить. А вы враз — “предатель”.

— Стало быть, коровёнку? — остывал Веттин. — Оно, конечно, в заграницу её не погрёшь. А сколь ты за неё просишь?

Памятью о своей слишком высокой, как оказалось, цене за Маркизу в пятнадцать тысяч рублей, Ольга сделала скидку сразу на пятьдесят процентов.

— Знаешь, что, любезная Оля, — промолвил в ответ Август Карлович, — Маркизу твою за эти деньги у нас не продать. Сама, небось, понимаешь, как люди живут. Пенсии приносят с опозданием. Да и пенсии-то — крестьянские, грошовые. Вот я тебе и предлагаю: ты мне эту коровёнку отдай. Подари, значит. Другого пути у тебя не будет, увидишь.

Не хотелось Ольге отдавать Маркизу Веттину за бесплатно. У него, подлеца, деньги, конечно, водились. Куда больше того, что она за корову просила. Одни его закупки в городских гастрономах чего стоят! Возвращается оттуда с десятком пакетов, рук не хватает нести.

Опечаленная новым отказом, пошла она дальше по деревенской улице, стараясь угадать, дома ли хозяева и чем заняты. Если дверь приперта еловым дрыном, значит, дома никого нет. Если пахнет румяной корочкой, значит, у хозяйки в печи хлебушек доходит. Если наносит можжевельником, особо духовитым под крутым кипятком, знать, хозяин с утра распалил до геныи огненной баньку — одну из немногих усад русского человека.

Однако ж, куда была она ни заходила, с кем бы ни разговаривала о печальной участи Маркизы, никто из односельчан горем её не проникся и в положение не вошёл. Денег живых, сегодя на бедность и горесть бытия, народ платить не желал. Некоторые и позлобствовались: муженёк-то, бездельник, поди, в море-океане полощется, а жена от нищеты попрошайничает.

Помыкалась Ольга по дворам, только сердцем измаялась и духом пала. Возвратилась к Веттину обречённо.

— Твоя правда, Август Карлович! Забирай Маркизу в подарок.

Ночь проревела Ольга в остывающем, уже готовящемся к прощанию доме. Всё в нём, кроме треснувшего в иных местах Ольгиного чемодана из свиначьей кожи, оставалось на своих местах. Но предчувствие грядущего запустения уже скользило по стылým половицам, вздыхало тенётами в углах, осыпалось угольной печной сажей. Той ночью вспоминала Ольга сызнова всю свою жизнь, все тридцать лет, что прошли в этом доме, оставили свой незабываемый след: свадебной ли фатой в шифоньере, цинковой ли ванночкой для младенца в дровянике, вымпелом ударника социалистического труда над кроватью, дюжиной фотографий, собранных по деревенской традиции под одну большую раму, откуда теперь смотрели за ней неотступно выцветшие на солнце лики родителей, юный паренёк в ефрейторской форме войск ПВО, в котором хозяина не сразу и признаешь, сияющую Маруську на трёхколесном велосипеде.

Через несколько дней эта жизнь останется в её прошлом, в заколоченном досками доме с еловым дрыном у двери, означающим отсутствие хозяев. Это походило на смерть. Но и в рождение жизни новой хотелось ей верить. Неведомой, чужой, может, и хорошей даже, но совсем иной.

Бьянка тоже страдала. Не от болезни своей смертельной, а от предстоящего прощания с Маркизой. Вечером лайка заползла в её стойло, устроилась подле коровы на уютанном, местами подгнивающим сене. Лежала, прижав к тёплому коровьему боку, положив голову на лапы, и, помаргивая, смотрела на Маркизу. Она давно, хорошо знала свою подругу — её безразлично-добрый взгляд, тёплое вымя в синих венах, протяжные, утробные вздохи. Но вряд ли понимала, что завтра тут уже никого не будет. Маркиза уйдёт покорно в другое стойло, к другим людям, оставив в доме только Бьянку и Ольгу. И те станут последними, кто вскоре покинет своё жилище.

Эти дни Ольга ходила, как чужая. Собирала ещё какие-то вещи, перемыла зачем-то сервиз, подмела и намывла водою с нашатырём крашенные Николаем года два назад половицы. В суматохе, в мыслях о будущем, о прошлом не раз забывала покормить собаку. Алюминиевая её миска подёрнулась коркой застывшего жира и пованивала. А Бьянке есть не хотелось. Она исхудала, выперла рёбрами, осунулась, взглядом померкла. Жизнь её, наполненная смыслом, заботами об одном, потом о втором хозяине, о ценках, об охоте, да и просто радостью от каждого нового дня, сделалась бесцветной, лишённой даже самых скромных целей. Она не понимала, но чувствовала,

что с нею творится неладное, силы окончательно покидают её. И всё закончится совсем скоро.

В тягостных предчувствиях провела она ночь подле Маркизы. Наутро Ольга пришла в хлев неприбранной, в ночнушке, с распущенными волосами и принялась (в последний же раз!) доить корову. Лайка не отходила от неё, глядела на хозяйку с недоверием, даже с какой-то враждебностью.

И когда ближе к полудню Ольга потащила на верёвке за собой Маркизу на двор к чужим людям, Бьянка неотступно ковыляла следом, пачкая культы, хвост и живот жирной просёлочной грязью. Потом ждала хозяйку под дождём, возле чужих ворот. Вышла из калитки Ольга одна, с красными воспалёнными веками, с платочком в крепко, до судороги сжатом кулаке. Поглядела на Бьянку. И от одного лишь вида мокрой, больной, израненной, грязной собаки слёзы вновь навернулись ей на глаза.

— А с тобою-то что делать?! — в голос закричала она.

21

На другой день в Астахино снова пришла зима. Хлопья снежной ваты падали с неба ночь и утро, укрывая шиферные крыши домов, дороги, деревья, мост через Паденьгу — весь северный край — девственным, невесомым покровом, который вряд ли продержится до вечера.

Таким утром дрова в печи трещат, поют особенно радостно. В прежние дни Ольга ещё потемну поставила бы хлеб да кролика, что томился в чугушке с вечера, да внесла бы в избу трёхлитровую банку парного молочка от Маркизы. А теперь? Кому всё это надо?

Через два дня заказанная ею “буханка” под управлением Харитошки и в сопровождении любозной Нюрки Собакиной умчит её до районного центра Вельск. А оттуда — в столицу на вечернем поезде, а оттуда ещё страшнее — на самолёте, да в город Мадрид — столицу испанского королевства.

За прошедшую неделю она, кажется, все дела привела в порядок. Хозяйский сарай замкнула на новый замок, который промазала поверх железа солидолом от ржи: здесь после распродажи ещё много чего осталось. Вымыла, вымыла баньку — в молодую пору она любила париться в ней вместе с мужем, до сих пор помнила, как тот любовно, не спеша охаживал её можжевеловым и дубовым веничками. Потом уж ходила туда в одиночку — парила в алюминиевом тазу опухающие ноги. А теперь поклонилась баньке да заперла её на замок. В хлеву и птичнике было так тихо, непривычно, что Ольга даже не решилась туда войти, страшась увидеть горе запустения и вновь разрыдаться. Уже стоял у двери собранный чемодан да Николаев охотничий рюкзак, да корзина с деревенскими яствами: завёрнутым в тряпицу шматком солёного сала, банкой копеечных рыжиков, а ещё — с густой сметаной и домашним сыром. И самой в дороге подкрепиться, и мужу гостинец чудесный. Посуду, кухонную утварь уложила в несколько коробов, завернув каждый предмет в газету “Важский край”. Герани и толстянки, и мясистый алоэ, и “тёщин язык”, что выращивала в жестяных банках из-под польских маринованных огурцов, она ещё на позпрошлой неделе отволокла в сельскую библиотеку — заведовала в ней дальняя её родственница Серафима Аркадьевна Моргенштерн. Из репрессированных.

Настороженно смотрела Бьянка на поспешные хозяйкины сборы, не понимая их назначения, только сердцем предчувствуя беду. Лайка теперь почти не выходила из дома, с трудом и болью поднималась в сених с той самой телогрейки, на которой рожала своих щенят, зализывала культы, боролась, да так и не совладала с болезнью. Иногда заходила в избу, страшась непривычной её пустоты, гулкости. Ольга не ругала её, как прежде, за вторжение на хозяйскую половину. Только смотрела с грустью, даже с отчаянием.

Чего только не передумала она, решая судьбу Бьянки. Хотела пристроить в хорошие руки, но таковых на большую собаку не нашлось. От идеи взять лайку с собой отказалась сразу, и сама-то не понимая ещё, как доберётся до места. Оставить возле дома одну, бросить? Нет! Надвигалась зима, голод. И неумолима, жестока была собачья болезнь. Оставалось только одно,

единственно правильное, по разумению Ольги, решение — о нём она думала все последние дни.

Вечером, накануне отъезда, прихватив в сельно бутылку водки, отправилась она в избу Любаши. Та как раз бутылку эту Ольге и отпустила, не подзревая, зачем она ей понадобилась.

Муж Любаши, воротясь с работы на лесопилке, восседает на кухне в незыасимой обиде на окружающий мир. Рядом сын Павлуша школьное изложение аккуратным почерком выводит. Зина собирает на стол нехитрую снедь из картошки, капусты тушёной и солёных огурцов да ругается, матерится ти-хонько, себе под нос, чтоб не разозлить сына. Тот не поглядит, что мать, вре-жет без промедления, если что не по его сказано или даже взглянуто не так. Нелюбезной матери ветерана Ольга объяснила, что пришла договориться с её сыном о помощи. Конечно, оплаченной. Ветеран слушал Ольгу, уставившись на многообещающий газетный свёрток у неё в руках. И когда она протянула ему его, кивнул, согласный на всё. Сговорились на завтра.

В эту ночь Бьянка спала, впервые не чувствуя ни боли, ни времени. Хозяйка разбудила собаку, гладила, виновато отворачивая лицо с заплаканными глазами. И вдруг надела на неё городской ошейник, купленный лайке ещё покойным Форстером. Защёлкнула на нём ржавый карабин поводка. Отворила дверь, двинулась решительно к покосившемуся, но ещё крепкому штакетнику. Бьянка в поводке ползла следом, виляя крючком хвоста, радуясь, что хозяйка решила с ней погулять. Ей так хорошо было увидеть знакомый лес вдалеке, поникшие стебли осоки, рослые, сухие скелеты борщевика. Вспомнить их запах.

Бьянка доверяла хозяйке. Знала, что она позаботится о ней, если Бьянка не сможет дальше терпеть боль. Даже если им придёт пора проститься, хозяйка сделает всё, как надо.

Дойдя до штакетника, Ольга привязала поводок к крепкой жердине. И опустилась перед собакой на колени.

— Прости меня, милая Бьянка, — всхлипывая, говорила она, а слёзы всё катились — по щекам, по губам, по шее. — Я плохая хозяйка. Я это знаю. Но по-иному я поступить не могу. Прости меня за предательство. За то, что не уберегла тебя и деток твоих. За то, что ты страдала, а не жила. Господь меня накажет за это. А я буду до конца своих дней просить у Него прощения. Ты только не бойся, голубушка. Не бойся ничего. Хорошо?

Бьянка не понимала её слез. Сделала то, что сделала бы на её месте всякая собака, чувствующая страдания любимого человека. Она лизнула её в солёное лицо. И ещё раз. И ещё, слизывая и глотая горькие женские слёзы. Но они набегали вновь и вновь.

Наконец, шмыгая носом и не обтирая лица, Ольга поднялась с земли. Коленки её серых рейтуз потемнели от грязи, снега, увядшей травы.

— Прощай, Бьянка, — тихо молвила Ольга и, не оборачиваясь, пошла к дому.

Лайка рванулась за ней, позабыв про поводок и ошейник, которых не знала все долгие годы деревенской жизни, но тут же упала в студёную жижу. Кульгтями сучила по скользкой, гуталиново-чёрной земле, покуда, наконец, не выгребла на дерн. И только тут поняла: в её мире сейчас произойдёт необратимое, страшное. Она видела, как Ольга с чемоданом прошла мимо дома, свернула на просёлочную дорогу. Поняла: она уходит навсегда. И чтобы остановить её, возвратить обратно, закричала Бьянка во всё своё хрип-лое, надсаженное горло. Вся боль, все страдания, что выпали на долю этой породистой, ладной когда-то лайки, соединились теперь в её стоне. Она звала долго, обреченно, пока окончательно не сорвала горла. А потом лишь ску-лила жалобно, всё ещё пытаясь высвободиться из неподдающихся кожаных пут. Жаловалась всё слабее, всё безнадежнее.

Сначала Бьянка не поняла, кто движется ей навстречу. Портки цвета хаки, заправленные в болтающиеся ботфорты резиновых, закатанных по колено бродней, куртка с засаленными рукавами, шлем танкиста на голове. Следом за человеком по-стариковски перебирал лапами чёрный кобель Чурка — его Бьянка могла бы учуять, даже если б была слепой от рождения.

Тот самый Чурка, нежеланный бывший муж на короткий сучий её срок, с которого начались все беды её и несчастья. Старый пёс стоял позади своего хозяина и неотступно наблюдал слезящимися глазами за последними минутами жизни белой лайки.

А ветеран с железным хрустом переломил ствол “вертикалки” шестнадцатого калибра, вставил оснащённую жаканом жёлтую пластиковую гильзу, прицелился в Бьянку.

Звук преломленного ружья Бьянка знала сызмальства, но вначале не поняла, в кого целится человек, а когда увидела, что целится он в неё, послушно легла в тающий снег.

Над Астахино опять кружило ледяную канитель, стайка соек с радостным щебетом слетела с рябины. Как и сто, и тысячи лет назад, Паденьга несла тёмные воды к Великому океану, из труб северных изб струился смоляной до горечи еловый дымок, а в местном клубе или библиотеке звучала сладкая ария из “Любовного напитка” Доницетти.

Вдруг вспомнилась мама, озорной ценячий выводок, запахи свежего сена и увядших васильков. Вспомнился добрый Иван Сергеевич Форстер со своею Сироткой, сапожник Алим, скрежет вагонных сцеп. Вспомнилась добрая девушка Люба, учитель Толстой, семейство Едомских, Костя Космонавт и последние её хозяева — дядя Николай и Ольга. И ещё, конечно, вспомнились её собственные дети — безвременно канувшие и лишившие её дальнейшую жизнь цели и смысла. Вспомнилась, как-то разом и быстро, вся её прошедшая жизнь, самые главные её мгновения, которых на поверку оказалось не так и много. Бьянка не успела испугаться или удивиться людской жестокости. Она даже выстрела, расколовшего низкое астахинское небо, не испугалась. Мгновение — и сокрушающие всё на своём пути двадцать шесть граммов свинца ударили собаке в грудь, разорвали в клочья её сердце. “Не страшно”, — мелькнуло в голове Бьянки. Тёплая волна ласково укрыла её в своей пучине.

Через какой-нибудь час с небольшим приблизился к Бьянке, дребезжа связкой банок, Костя Космонавт в лохматой овчине. Опустился на колени перед её растерзанным телом, горько заплакал. Слезы из стариковских глаз сыпались тёплым градом на собачью морду, на рану отверстую, на старый кожаный ошейник на шее. Костя снял его, с трудом поднялся на ноги и сгрёб в охапку окоченевшее тело, выпростав и на овчину, и на седую бороду чуть не миску густеющей крови. И медленно, задыхаясь, двинулся в сторону леса, над которым сыпало особенно густо, оставляя на ветвях, на пнях, на цветастом мху лёгкое покуда снежное покрывало.

Здесь, возле смолистого ствола ели, помнившей ещё британскую интервенцию русского севера, опустил Бьянку на землю и, вооружившись жестяной кружкой, из которой обычно пил горячую воду, принялся с усердием копать последнее прибежище для собаки.

Земля еще не продрогла и потому поддавалась Косте легко, лишь иногда задерживаясь на крепких на излом еловых корешках и вкраплениях речной гальки. Но много ли жестяной кружкой наковыряешь? Это не заступ, не лопата. Трудился юродивый без усталости, взмок. Сбросил с плеч волгдую от снега овчину, остался в цветастом рубище, состроенном из старых бабьих платков, военного френча да оранжевой жилетки дорожника. Могилка получилась хоть и не глубокая, зато аккуратная, сухая. Костя выстлал дно еловым лапником, уложил на него Бьянку. И долго, старательно засыпал ее сухою землей. Надробный крест собаке не полагался. Костя начертил пальцем на холмике только имя — Бьянка. Зачем-то латинскими буквами, которых сроду не знал. На буквы тут же стал сыпать хлопьями снег и вскоре скрыл навеки и имя Бьянки, и само её существование.

Только это случилось, где-то у горизонта громыхнуло раскатисто, грозно, и над мутными за снегом зубцами тайги вспыхнула яркой звездой и все дальше уходила в бездну вселенной теперь уже крохотная, будто светлячок, баллистическая ракета. Она поднималась всё выше — над лесом, над стылым северным краем, над прекрасным, чарующим миром, который мы называем планетой Земля. Над одной из песчинок в безбрежных днах мироздания.

Костя-Космонавт следил за полетом ракеты, улыбаясь чему-то счастливо и осеняя ракету размахистым крестным знамением.

— Царствие небесное! — прокричал он радостно вслед едва мерцающему светлячку. — Царствие небесное!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

А жизнь семейства Рябиных пошла своим, теперь уже по-иному, по-нездешнему скроенным правилам.

Добравшись до города Мадрида, Ольга, не теряя времени даром, попёрла, прежде всего, из имения мужнину любовницу Лолу, пригрозив ей не только косы повыдергать, но и, по совету адвокатов, упрятать в тюрьму за попытку захвата чужого добра.

Весь следующий год она приводила в порядок разваливающееся на глазах состояние. И, к собственному и окружающих удивлению, добилась в своём предприятии больших успехов, даже приумножила капитал. В тот же год Ольга вызвала из Вельска Марусю, пролечила молодуху от пьянки в хорошей клинике, купила ей большую квартиру неподалёку от собора Святого Семейства в Барселоне и удачно выдала замуж за молодого наследника легендарных подвалов Pedro Jimenez в приграничном городе Херес, где как раз и производили одноимённый напиток.

Николай Игнатьевич Рябинин тем временем совсем устранился от дел, предпочитая им рыбалку то в норвежских фьордах, то где-нибудь на Маврикии. В Россию он больше не приезжал. Смерть, по счастью, настигла его внезапно, в возрасте семидесяти восьми лет. Сгусток крови, спрятавшийся в венах его голени, оторвался в то время, когда он тащил пудовую сайду из океана в трёх милях от водоворота Мальстрём, и добрался-таки до его сердца. От того места до берега час-полтора ходу, так что спасти его не удалось.

После смерти мужа Ольга прожила в достатке и относительноном душевном равновесии ещё почти десять лет, окончив жизненный путь в роскошном доме для престарелых курортного городка Марбелья, куда была отправлена по настоянию Маруси, её состоятельного мужа и двух взрослых внуков — Ванечки и Хуана.

Прежнюю жизнь в русском Астахино Рябины вспоминали редко, а внуки и вовсе о ней не знали. В их русской речи появился акцент, молитвы стали короче, а потом и вовсе исчезли из семейного обихода. Полуиспанцы, они сделались равнодушны к бедам и заботам бывшей родины, а свою жизнь доживали, на их взгляд, вполне благополучно.

Но за семь минут до смерти, лёжа в удобной ортопедической кровати, под присмотром мониторов, опутанная прозрачными трубками и проводами, Ольга вдруг увидела Бьянку, её белоснежную мордочку и, кажется, почувствовала на своём лице тепло её влажного языка. “Спасибо тебе, спасибо”, — еле слышно прошептала Ольга. Медицинская сестра, протиравшая влажной салфеткой её лицо, наклонилась, но не разобрала ни одного слова.